



журнал поэзии

ВОЗДУХ

3-4 09

Виталий Пуханов

Сергей Тимофеев
Татьяна Щербина
Василий Ломакин
Станислав Львовский
Андрей Сен-Сеньков

Молодая поэзия
Санкт-Петербурга

ВОЗДУХ

журнал поэзии

3-4/09

четвертый год выпуска

*Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения.
Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух.*

Мандельштам



проект арго

ISSN 1818-8486

Редактор Дмитрий Кузьмин

Художник Юрий Гордон

Журнал поэзии «ВОЗДУХ» издаётся 4 раза в год, по возможности. Издатель — Проект Арго.

Материалы для публикации принимаются только по электронной почте: *info@vavilon.ru*

Редакция вступает или не вступает в переписку по собственному усмотрению.

По этому же адресу вы можете оставить заявку на экземпляры последующих выпусков журнала.

Электронная версия журнала находится по адресу:

<http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/>

Все права на опубликованные тексты сохраняются за их авторами.

Изд-во АРГО-РИСК 117648 Москва, Сев.Чертаново, 8-833-218.

Типография Россельхозакадемии. Москва, ул. Ягодная, 15.

СОДЕРЖАНИЕ

К И С Л О Р О Д	
Виталию Пуханову / Данила Давыдов	5
Г Л У Б О К О В Д О Х Н У Т Ь	
Виталий Пуханов	
Стихи	9
Интервью / Линор Горалик	27
Отзывы	34
Константин Кравцов, Юрий Цветков, Евгения Риц, Алексей Прокопьев, Алексей Кубрик, Аркадий Штыпель, Дарья Суховой, Леонид Костюков	
Д Ы Ш А Т Ь	
Борис Херсонский	40
Александр Месропян	45
Станислав Львовский	49
Кирилл Корчагин	62
Игорь Лёвшин	65
Максим Бородин	68
Сергей Тимофеев	81
П Е Р Е В Е С Т И Д Ы Х А Н И Е	
Владимир Рафеенко	85
Д Ы Ш А Т Ь	
Юрий Цаплин	97
Григорий Гелюта	105
Тарас Трофимов	110
Павел Демидов	112
Александр Самарцев	115
Ольга Дернова	118
Евгения Изварина	121
Татьяна Щербина	124
П Е Р Е В Е С Т И Д Ы Х А Н И Е	
Андрей Сен-Сеньков	129
Д Ы Ш А Т Ь	
Антонина Семенец	137
Ирина Шостаковская	140
Наталия Азарова	143
Павел Жагун	147
Василий Ломакин	152

КИСЛОРОД

Объяснение в любви

ВИТАЛИЮ ПУХАНОВУ

В своё время, обнаружив книгу «Деревянный сад», я был заворожён несколькими стихотворениями оттуда («Боже, храни колорадских жуков...», «Психиатрический больней...», «Поезжай в Египет...», другие); впрочем, «заворожён» — слишком возвышенно, нет, скорее, речь шла о восторженном непонимании — эффект налицо, строки мгновенно запоминаются (даже при общей моей неспособности к запоминанию текста), но совершенно непонятно, как это сделано, чем достигается такое действие. В дальнейшем эти таинственные механизмы для меня стали проясняться, однако практика поэта — каждым новым текстом — опережает аналитический инструментарий.

При этом Виталия Пуханова не принято — вне рефлексии, так, автоматически — относить к поэтам, требующим особой расшифровки. Эта априорная установка, на которую легко пойматься, таит в себе многосоставную ловушку, связанную как с природой традиции, классичности, простоты, прозрачности и т. п. слишком очевидных, чтобы быть осмысленными, понятий, — так и собственно с пухановским методом.

Мне приходилось писать о книге Пуханова «Плоды смоковницы» — промежуточной между «Деревянным садом» и нынешними стихами. В тех стихах ощущалось пружинное сжатие русской классической поэзии, максимальная концентрация смыслов на единицу поэтической речи. Кирилл Кобрин писал в послесловии к той книге: «Эта трезвость, этот незабываемый матовый отблеск интонации, это осознание конца великой традиции, это холодное мужество, с которым Пуханов не откликается на заманчивые предложения поиграть в поэзию...». Леонид Костюков — в предисловии к той же книге — высказался ещё лаконичнее (и, кажется, несмотря на метафорику, чётче): «Поэтическая система Пуханова работает только в состоянии... напряжения, только абсолютно всерьёз, как ружьё, которое не способно стрелять холостыми».

Уже было видно, что здесь есть что-то ещё, принципиально важное: то ли финализм, подведение черты под невозможным более методом, говорение за всех предшественников (постоянное — в стихах разных книг — пухановское «мы» ох как не случайно), то ли своего рода альтернативный концептуализм, создание метаязыка русской поэзии, то ли особая, едва уловимая форма диалога с традицией, построенная на атомарных смещениях ритма, смысла, структуры. Варианты: «наследник», «пересмешник», «собеседник». В дальнейшем оказалось, что эти варианты понимания не противоречат друг другу.

По словам Станислава Львовского, Пуханова «часто, хотя и безосновательно причисляют к поэтам традиционалистского толка», тогда как новые его стихи «написаны автором, чью поэтику уже почти невозможно соотнести с каким-либо

традиционализмом». Меж тем, проблема действительно существует: в какой степени Пуханов изменил традиции?

В нынешние времена странным образом сменилось — по отношению к высокому модернизму, например, — соотношение эстетических означиваний, этикеток — и собственно сути означиваемых явлений. Это как в отечественной политике, где «левые» и «правые» периодически меняются местами, не всегда соображая, где они в данный момент находятся. Или — как предсказываемая смена магнитных полюсов, неизбежная, но непредставимая, поскольку выходит за пределы частного человеческого опыта. История поэзии — не политическое поле и не геомагнитный мир, поэтому упрощения очевидны. Тем не менее: инновационная поэзия столетней давности в значительной степени была построена на взломе устаревших, инерционных языковых моделей, на поиске глубинных смыслов самовитого слова; пространство смысла оставалось за неоклассикой — и в лучших проявлениях («Жив Бог! Умен, а не заумен, / Хожу среди своих стихов...») было ею сохранено. Знаменитое мандельштамовское «мы — смысловики» при этом — полемично к подобному распределению ролей (произнесены эти слова Мандельштамом не акмеистической гармонии, но — поздним, принципиально требующим расшифровки).

В определённого рода — весьма распространённом — способе оценки новейшей поэзии продолжают работать схемы предыдущей эпохи, но работают они на холостом ходу, осуществляя вместо распределения смыслов — бесконечную подмену определений. Неоклассическая поэзия, в большинстве своём представляющая ныне именно формальный эксперимент, пытается удерживать позиции смысла, иные же формы письма объявляются с этих позиций сугубо формальными, хотя именно здесь существуют ныне опыт, личный взгляд, диалог.

Скандал, вызванный пухановским стихотворением о Блокаде («В Ленинграде, на рассвете...»), показал устройство инерции восприятия (именно от Пуханова в силу его репутации, — на что опять-таки указывает Львовский, — «не ожидали такого»). Но такого рода инерция не имеет отношения к собственно пухановскому письму. То, что может показаться провокативностью, предстаёт на деле глубинным свойством поэтического мышления Пуханова — причём отнюдь не только в новых его стихах. Принадлежность к изъятому из обыденного восприятия, выговаривание самоочевидного, но потому и табуированного в высокой речи, демонстрация невидимого, но безусловно существующего каркаса бытия принципиально не могут быть традиционными в смысле воспроизводства риторических моделей, — но лишь в смысле последовательного осознания себя как носителя поэтической функции (в её, если угодно, значении вневременном). В старом стихотворении — одном из важнейших, на мой взгляд, в «Деревянном саду» — это уже проявлено с полной силой:

Мы жили в суетном доме
 На молоке и хлебе.
 Но по ночам мне одному
 Являлся доктор Геббельс.

.....

Я долго ждал и ждать устал,
Когда придёт мой срок.
А он ушёл и прошептал:
Прости меня, сынок.

Я стал о Ницше говорить,
О Шпенглере молчать.
И всё ещё пытаюсь смыть
Арийскую печать.

Этот способ подчёркнутого выдвигания «непроизносимых» вещей чётко связывает старые и новые стихи Пуханова. Иное дело, что в стихотворениях последнего времени метод заострён, лишаясь последних признаков отмеченного Костюковым «романтизма, пропущенного через мясорубку реализма»:

За деревней у погоста
Настоящий холокост:
Льётся кровь, крушатся кости, —
Завершается покос.

Мышки, бабочки, гадюки
И кузнечиков семья,
Крылья, лапки, ноги, руки,
Стоном полнится земля.

Утекает восвояси
Горя травного река.
Ты же любишь, сволочь, мясо.
Ты же хочешь молока.

Сам Пуханов постулирует свой метод «прагмагерметики»: «Школу, которую я проходил и прохожу в поэзии, можно охарактеризовать коротко: чтобы показать «то, что есть», нужно рассказать о том, чего нет». Но «нет» здесь — не обозначение небытия, но указание на отсутствие чего-либо в определённом поле восприятия. Того, что у нас за спиной, в каком-то смысле нет, но также и нет вон того шкафа или вот этого стула, много лет неизменно присутствующих перед твоими глазами. Пухановская поэзия является способом борьбы с такого рода солипсизмом. Поэзия вообще во многих значимых проявлениях есть вынесение на свет неуловимых призраков на грани зрения, определённых мерцающих структур. Пуханов в этом смысле — один из наибольших радикалистов, поскольку демонстрирует вещи неуловимые по причине привычной, ежедневной незаметности — поэтому вытесненные в область субъективного небытия.

Следующим же ходом надо признать, что субъективность в данном случае носит специфический характер. Это — субъективность коллективного тела или коллективного сознания, того самого «мы», о котором я уже говорил выше. «Мы» это — чётко не проявленное, не обозначенное; порою поэты, порою соотечественники, порою поколение, порою просто люди. Пуханов одновременно существует внутри этого «мы»

— и демонстрирует те пределы, в рамках которых это нерасчленённое сообщество (точнее, его фантом) способно существовать.

В стихах Пуханова демонстрация «запрещённой обыденности» есть попытка найти некоторые общие — непроизнесённые, но от этого не перестающие работать — закономерности восприятия жизни. Кажущаяся (повторюсь) провокативность, или парадоксальность (столь же эфемерная, если понимать под парадоксом лишь логическое или риторическое упражнение, а не следующий — за нормативным — уровень осмысления), или ирония (важная лишь как оболочка высказывания) здесь не играют принципиальной роли. Важна практическая антропология. Практическая — потому что проявлена не через аналитический аппарат, но — в самом живом организме текста, который — и инструмент познания, и его результат. Здесь придумается другое авторское определение собственного метода: «Художественный метод, который я называю «прагмагерметика», должен помочь ясно увидеть мир сквозь слои материального и символического. Обойтись без «специалистов», как это делают зайцы или стрижи».

Вот характерный пример: цитированные выше стихи — разных, подчёркиваю, лет — сообщают нам об определяющих существование обстоятельствах — о молоке, хлебе, мясе. Еда — то инфантильное запретное, что обобщает культуру и цивилизации (в «блокадном» стихотворении центральная суть запретности еды очевидна, но это, как мы видим, лишь частный случай). Сам Пуханов говорит: «Пишу стихи про еду или её отсутствие, о последствиях еды, последствиях отсутствия. В России исторически не сложилась привычка врать о еде (официальные документы не в счёт), а про мысли свои врут все и всегда. Исторически так сложилось. Еда, считая ту, которой нет, она всегда твоя. А мысли?»

Смысловая основа поэтического представлена как нерелективная, именно такова, *какова она есть*, но субъект говорения, — пусть часто и не проявленный собственно в текстовой ткани, — выставляет стихотворение как потенциальную задачу. Отсюда — двойное дно, стихи, живущие как «зайцы и стрижи», — и, напротив, максимальный уровень обобщения. Однако в случае Пуханова это «но» снимается — оба уровня прорастают друг сквозь друга, они и создают такие трудности при расшифровке «простого» текста.

Сакральные в культуре, запрещённые к проговариванию вещи — и высокие (родина, родители, война), и обыденно-низкие (еда, экскременты) — не уравнены, не деконструированы: они введены в поле *реального* бытования. Им предложено освободиться от ритуальных (возвышающих или снижающих — всё равно) коннотаций, дабы предстать в своей обнажённой сути.

Действующая, по Пуханову, в искусстве «презумпция несуществования» требует доказательности не на уровне декларации, но на уровне явленного предмета, о котором, собственно, можно и говорить как о существующем. Рецепты такого проявления, думаю, весьма разнообразны. Пуханов избрал один из самых жёстких и неблагодарных — но и по результату выигрышных: рецепт абсолютной открытости, которую при этом все готовы принять за что угодно другое.

ГЛУБОКО ВДОХНУТЬ

Автор номера

Виталий Пуханов

СТИХИ

✦ ✦ ✦

В школу набирали мальчиков с двенадцати лет.
Учили улыбаться.
Большие губы, подвижное лицо — обязательны.
Рост не имеет значения.
Ежедневные упражнения: вверх-вниз, вверх-вниз,
Едва заметные движения уголков губ.
На уроках почти не разговаривали.
Учитель зачитывал на экзамене «Пир» Платона
Или «Антигону» Софокла.
Могли прозвучать Гари и Кутзее.
«Отлично» не ставили никому.
Пять ошибок — «два».
Перезэкзаменовка.
Вместо летних забав: вверх-вниз, вверх-вниз
Уголками губ.
И книги, книги.
Читать, улыбаться.

✦ ✦ ✦

Благодаря видео на YouTube
Все узнали, что я урод.
Я, конечно, узнал последним.
Слава Богу, быть уродом не преступление.

Пойду в «Связной». Положу на телефон.
Прикуплю памяти.

Лет через десять на YouTube
можно будет прослушать телефонные разговоры.
Мне придётся признать, что это мой голос и мои слова.

Лет через двадцать на YouTube
начнут транслировать мысли.
Я прочитаю свои последним и ужаснусь.

Позже, позже каждый желающий в онлайн
Сможет смотреть, как я разлагаюсь в земле.
Медленно.
Или сгораю в печи.
Быстро.
Но я этого не увижу
и потому никогда не узнаю, что умер.

Я буду верить, что красив, как бог,
Что голос мой как шелест листвы,
И мысли мои светлы, мудры и бессмертны.
И мы ещё встретимся на YouTube.

✦ ✦ ✦

«Mein Kampf» я так и не прочёл,
Хотя купил задорого.
В печи не сжёт. Жалел о чём,
Когда дрожал от холода.

О чём она? Зачем она?
Я никого не спрашивал.
И много зим без сна, без сна
В себе её вынашивал.

✦ ✦ ✦

Мой друг Серёжа сел за драку.
Аркадий в морге. В неглиже.
Максим завёл себе собаку.
А я завёл себе ЖЖ.

Пойди пойми, что мы не братья,
Четыре здоровенных лба:
Такие разные занятия,
Такая близкая судьба.

† † †

Двое в комнате живут.
Двое в комнате умрут
В день один, как обещали.
День ещё не назначали.
Звон посуды, стук сердец.
Чтоб вы сдохли, наконец!

Мы обедали по-русски:
Пили водку без закуски.
А потом решили спеть —
Не сумели утерпеть:

В коммуналках, в мышеловках,
Топоры живут в духовках.
Их оттуда достают,
Головы туда суют.
Голубым моргают глазом,
Поперхнувшись сладким газом.
Справа «бом» и слева «бом»:
«Дзень», и переехал дом.

† † †

Раз в году майор Федоскин
Посылает всех в пизду.
Забивает в окна доски,
Уезжает в катманду.
Под луной прохладной ночью
Мажет глиной отчий хлев.
По кустам стреляет точно,
Где рычит знакомый лев.
Скорпион его не жалит,
Не кусается змея,
Он прошепчет, уезжая:
«Катманду, любовь моя».
За Уралом о берёзки
Точит когти злой медведь.
Присягал майор Федоскин
Здесь служить и умереть.

† † †

Злой олигарх пришёл в твой дом:
В подъезде дверь сломал.
Перила вымазал говном,
Орёт на пап и мам:

«Чтоб в лифте стареньком нассать,
Я годы шёл во власть.
Могу все стены исписать
И лампочку украсть!»

† † †

В доме пять, в подъезде шатком
Параллельный вход в метро.
Мимо ходят люди в штатском,
Улыбаются хитро.

Открывается с рассветом,
Ездит летом и зимой.
Не купить туда билетов,
Нужен с грифом проездной.

Виртуозы-диверсанты,
Мастера двойной игры
Отправляются десантом
В параллельные миры.

Сквозь дремоту, под зевоту
И урчащее нутро,
Едут, едут на работу,
Как все люди, на метро.

† † †

Михаилу Айзенбергу

Не у тех мы здесь учились
И лечились не у тех.
Не на тех потом женились:
Боли больше, чем утех.

На чужой тропе толпились,
Умилялись красоте.
Мы старались, мы стремились,
Просто были мы не те.

Не на мраморе-граните,
На сырой земле стоим.
Извините, извините,
Извините, говорим.

✦ ✦ ✦

Ничего, что жизнь пройдёт —
Завтра будет жизнь другая:
Новая, недорогая,
Новый год три раза в год,
В спальне женщина чужая.
Водка яд, но сердцу йод.
Жизнь пройдёт, и — заживёт.

✦ ✦ ✦

Есть слова, что на заборе
Не напишут никогда.
И не крикнут в чистом поле,
И не выскажут в глаза.
Им детей не учат в школе,
Их не знает даже мент.
И ни в радости, ни в горе,
Ни в какой другой момент,
Ни на кухне коммунальной,
Ни в окопе, ни в избе —
Слово «экзистенциальный»
Не услышите нигде.

✦ ✦ ✦

Слабовидящие, слабослышащие, слаболетающие,
Слабопереходящие границы между мирами —
Объединяйтесь в общество инвалидов.
Боритесь за свои права.
Требуйте установки пандусов

Между мирами, между небом и землёй,
Между собою, какие вы есть,
И собой, какими хотите стать.
Общество оценивается по его отношению к инвалидам.
Инвалид всегда прав.
Инвалидом становится каждый,
Кто хочет того, на что не способен.
День его — мучительное воспоминание о невозможном.
У нас социально ориентированное государство.
Государство — это ты.
Твой труд — сострадать каждому,
Кто никогда не полетит в космос,
Не выйдет на сцену Большого театра,
Не напишет просто хорошую книгу.
Уступи место в трамвае, на сцене, за письменным столом.
Ты и так счастлив. У тебя дары на дары:
Любовь к неизбежному, радость насущного.
Смерть освободит тебя от трудов и тревог!
Оставайся счастливым.
Помоги другому.
Никогда не становись другим.

✦ ✦ ✦

Увидел Париж и умер.
Увидел Лондон и умер.
Увидел Амстердам и умер.
Суета бессмертного человека.
Везде быть, всё видеть,
Нигде не оставаться навсегда.
Люди видят Братск, видят Череповец
И ничего, живут.
Если и умирают, то навсегда
И по другим причинам.
Мечтают увидеть Париж, Лондон, Амстердам
И жить. Но так не бывает.

✦ ✦ ✦

Космонавты — лучшие наши люди.
Выдерживают нечеловеческие перегрузки.
Чинят любой прибор быстро и вверх ногами.
Не курят, не пьют, едят мало, протёртое из тубиков.
Здоровы, всегда улыбаются, говорят только когда спрашивают.

Получают мало. Никогда не жалуются.
Живут в маленьких городах. Никто не видит их жён.
Они — немногословные добрые женщины.
Никогда не плачут, пекут вкусные пироги.
Дети космонавтов послушные и опрятные.
Начинают ждать отца рано утром. Стоят до ночи и не ноют.
Когда видят, кричат «папа, папа» красивыми голосами.
Космонавт может стать хорошим директором детского дома,
Прекрасным сантехником, строгим водителем троллейбуса.
Зачем юных учат на менеджеров, электриков, трактористов?
Нужно учить на космонавтов. Готовить к полёту в космос.
На земле будет больше проку от людей.
Да, не все полетят, но все поверят, станут ждать и трудиться.
Обещайте звёзды, хотя бы обещайте!
Если бы космонавт писал стихи, там не было бы лишних слов.
И каждое било в самое сердце надеждой и радостью.
Вся страна плакала бы. Счастливыми слезами.

✦ ✦ ✦

Фёдору Сваровскому

Убегаешь босой от горячей пыли.
Через месяц родители не узнают: негр, блондин.
«А поворотись-ка, сынку».
Ворочаешь красные камни, ловишь фиолетовых пауков.
Годы спустя в университете узнаешь: дело было на Марсе.
Ты думал — это прикрымские степи.
Готовится военная экспедиция.
Остерегайтесь красных камней и фиолетовых пауков.
Устройство души напоминает внутреннюю обшивку корабля.
Отворачиваешь панель «Воздух», под ней панель «Вода».
Отворачиваешь. Не запутайся в проводах.
Далее идут панели «Свет», «Тепло», отворачиваешь.
В глубине панель управления сбросом отходов.
Расположена в самом неудобном месте, ломается чаще других.
Подробная есть инструкция. Разберётся даже ребёнок.
Инструкции по ремонту души написаны давно.
На арамейском, в стыдливых переводах.
Всё можно починить. Было бы желание, время, инструкция.
Прикрымские степи — это тебе не на Марс пешком.
Можешь встретить себя среди красных камней.
Душа должна быть на месте.
Опасная экспедиция.

† † †

Поле бедное, поле русское,
Снега серого намело.
Лишь вороны гуляют грустные,
Да нападало НЛО.
Покосившаяся поленница,
Кабель порванный коротит.
Может, кто ещё не поленится
Поле русское перейти.
Без оглядки, на малой скорости.
Здесь под каждой тебе горой
В рукавицах, с мечом на поясе,
С чистой совестью спит герой.
Так ступай, чтобы кость не хрустнула,
И не трогай металлолом.
Запорошено поле русское
Серым снегом да тихим злом.
Выйдешь в поле, в ушко угольное.
Если совесть твоя чиста,
Выбирай себе место вольное
У ракитового куста.
Чтобы ветви не оцарапали
Воронёный узор брони:
Двухголового шестилапого
Басурманина обними.

† † †

Межпланетная херовина,
Бак для мусора на вид,
Непонятно как устроена,
Приземлилась и стоит.

Сволокут её болезную
И сдадут в металлолом,
И пришельца не побрезгуют
Съесть за дружеским столом.

Минералы в нём полезные
И венерианский йод.
А херовина железная
За цветной металл сойдёт.

† † †

Соколов Иван Демьяныч,
Именитый гастроном,
Кадку с тестом ставил на ночь,
Утром пёк пирог с говном.

Глад ему давно не страшен:
Сталинград, заградотряд.
Воевал за землю нашу.
Знает, с чем её едят.

Дети, внуки навещают.
Всем на вкус — орехи, мёд.
Нарезает, угощает,
А секрет не выдаёт.

† † †

Отец вернулся с войны.
Семья встречает: мать вашу!
Продали свадебные штаны.
Доедаем перловую кашу.

Как ты мог оставить семью и дом?
У жены мигрень, голодают дети!
Их судьба станет твоим судом.
Будут прокляты войны на целом свете.

Жить без отца паршиво.
У него черно в военном билете.
Запускайте скорей пропагандистскую машину,
Пусть гордятся героем жена и дети.

† † †

У роддома юбилей.
У детдома юбилей.
И у дома престарелых
Скоро, скоро юбилей.
Каждому — по сто рублей.
Вышло — миллиард рублей.
Пожалей страну родную

Хоть на несколько полей.
И меня, прошу, желей.
Тихо я живу, не ною.
Я не встречу юбилей.
Не побеспокою.

† † †

Смеялись мы над Михалковым —
Какой он старый и глухой.
И Дядя Стёпа бестолковый,
И гимн, как вся страна, тупой.

Дверь отворилась расписная.
Там жизнь. Уставилась в упор.
И весел кто из нас? Не знаю.
А он смеётся до сих пор.

† † †

Однажды заблудились мы, и нас,
Несчастных, умирающих от жажды,
Угрюмый человек случайно спас.
Брели домой под мат пятиэтажный.
Рассказывали после: он маньяк,
Убийца злой, по милицейским данным
Скрывается в лесу. Никак, никак
Не верили. Мы были благодарны!
Детей ему спасённых не зачли.
Кого убил угрюмый наш спаситель?
Когда бы знали имя, то пошли
И мёртвого просили: «Извините».

† † †

Ляжем спать в одной постели.
Married-married навсегда.
Тридцать лет и три недели
Спать до Страшного суда.
Хлеб в обед, свекла́ на ужин,
По утрам молочный суп.
Нам никто уже не нужен:

Есть от холода тулуп,
Есть от голода овсянка,
Есть от сырости халат.
Кран на кухне бьёт морзянку:
«Здесь никто не виноват».
Нас не слышно, нас не видно,
Но однажды дом снесут,
Скажут: «Как же вам не стыдно,
Вы проспали Страшный суд!»
Отчитают за беспечность,
Married-married, ерунда,
И в просроченную вечность
Запакуют без суда.

✦ ✦ ✦

Мои сволочи возвращаются с работы.
Выглядят как полные идиоты.
Покупаю куртки, перчатки, боты,
Штаны ватные.
Много с ними заботы.
Лица красные, в каплях краски.
Каски безопасные — головы целые.
Куртки рваные, руки грязные.
Уже пьяные.
Речи несуразные.
Люди мои бесценные:
Мастера на все руки, на все ноги,
На всю голову.
Не дадут умереть со скуки, от страха, с голоду.

✦ ✦ ✦

Тыква и кабачок, скучные собеседники,
Но и они — желанные гости.
В октябре рано темнеет,
Ветер выдувает последнее тепло.
На веранде возле самовара
Тыква и кабачок, оба чуть полосатые,
Важно молчат.
Время пить чай с кабачком и тыквой, Алиса.
Свет золотится в конце кроличьей норы.

† † †

Дети мои не узнали голода, страха, стыда, отчаянья.
Не потерялись на вокзале.
Не поиграли казёнными игрушками в детской комнате милиции.
Не прилипали к стеклу больничного окна.
Не сидели под дверью до темноты, потеряв ключи.
Не заблудились в лесу, не глотали пуговиц.
Их не кусали бродячие псы, не жалили осы и пчёлы в язык.
Занозы не гноились в стопе, сбитые коленки не кровили.
Манжеты укрывали тыльную сторону ладоней до середины всегда.
Не просили младших: «дай покататься», «дай поносить»,
«дай послушать».
Не просили старших: «не оставляй меня здесь», «возьми
меня с собой».
Ночные крокодилы и львы не прятались под кроватью.
Плохой отец. Украл детство.
Оставил на милость голода, страха, стыда, отчаянья
Будущей жизни.

† † †

Прежде чем научить любить Родину,
Нас учили любить всё:
Манную кашу на воде,
Кислый серый хлеб,
Тёплое молоко с пенкой,
Стихи Демьяна Бедного,
Рассказы Максима Горького.
Когда тебе десять, это трудно.
Под морозящим дождём, палящим солнцем
Скучно стоять у монумента павшим в борьбе.
Ищи, ищи в себя сочувствие и благодарность,
Ты же хороший мальчик.
Миллион бумажных журавликов для японской девочки.
Миллион красных гвоздик, вырезанных из открыток «С Днём Победы»,
Для Луиса Корвалана.
Загребать чужой жар своими руками,
Радоваться чужому счастью,
Томится чужим горем,
Не помнить себя:
Любить Родину.

† † †

На Севере жила сволочь.
Стояла полярная ночь.
Сказали: сволочи нужна помощь.
И мы обещали помочь.

Волокли топями, буераками,
Себя, как уголь, на край земли.
Лаем плакали, шли собаками,
Но сволочи той помогли.

† † †

Лет до двадцати бил себя по лицу.
Лучше бы это делать родному отцу.
До шмелиного гула в ушах,
Красных звёзд в голове.
Лишними были пуговицы на рукаве.
Но отец ударил меня только раз,
В тот год я шёл в первый класс.
Летел далеко. В крымской пыли
Долго лежал, видел отца вдали.
И сейчас вижу глаза его, сквозь года,
Он сказал: «Не жалуйся никогда».
Что-то в пути пропало, что-то ко мне дошло,
После судьба трепала весело и смешно.
С той дорожной пыли и до сего дня
Чужой не дотронулся до меня.

† † †

Смотрю на сына, какой он красивый, честный, смелый.
Говорю: я тоже был красивым, честным, смелым.
Конечно, я вру. Был некрасивым, малодушным, трусливым.
Отца не было рядом.
Теперь у меня есть право так говорить. Время прошло.
Получилось у сына, могло и у меня получиться.
Кто твой отец? Спрашивает меня.
Бог твой отец, отвечаю. И мой отец Бог.
Я немного похож на тебя глазами, и со спины, когда тороплюсь.
В одном мы схожи суть: страхом быть некрасивыми, малодушными.
Боимся отца.

† † †

Пока не затеял строить дом,
Не знал, откуда руки растут.
Стук молотка вызывал детский испуг.
Кирпич мазался, цемент пылил.
Не пойму, как я раньше жил.
Глядел с пренебрежением:
Мир лежит бессмысленным нагромождением
Ржавых железок, досок, силикатного кирпича.
Язык не отсох: не успел сказать
Слово красное сгоряча.

† † †

Был бездомен, подметал улицы.
Железная логика, деревянная рукоятка.
Улица просторная, прометённая насухо.
Каждое утро, каждый вечер: «ширк», «ширк».
Пять лет.
Когда я поселился в своём доме,
Стоял растерянно посредине комнаты с веником.
Не развернуться: стол, стулья, шкаф, кровать.
Пришлось нанимать уборщицу.

† † †

Мой первый самостоятельно приготовленный ужин
Обошёлся мне слишком дорого.
Дешевле было поесть в дорогом ресторане.
Я купил картошку, морковь и лук,
Макароны, масло подсолнечное,
Мяса четыреста грамм, что-то ещё.
Варил целый час. Получилось дорого и невкусно.
Ел и чувствовал себя дураком.
Потратил кучу денег!
Забыл купить перец, аджику и хлеб.
Много чего не купил.
Каждый день я ходил и ходил в магазин.
Покупал, покупал, а собрать суп всё не мог.
Самый дорогой суп в Москве!
Я отчаялся. Бросил старания.

Времени много прошло. Однажды кончились деньги.
Раз в жизни это случается с каждым.
Суп я сварил. И на следующий вечер опять!
И опять и опять, снова и снова.
Целый месяц варил. Всё никак не кончались
Морковка, картошка и лук,
Аджика и перец.

✦ ✦ ✦

Русский поэт, агент мировой закулисы,
Перебивается случайными заработками,
Ночует у знакомых.
Каждый вечер на поэтических чтениях
В одном из клубов ждёт связного из Вены.
Интернет ненадёжен, все слова ключевые,
Даже если напишешь: «Бабушка здорова»,
Расшифруют, обнаружат врага.
Только в гоготе пьяном можно поговорить о деле.
Связной из Вены сам подойдёт.
Пароль: «Мне нравятся ваши стихи».
Ответ: «А прозу мою Вы читали?»
Иногда поэт поднимается к микрофону.
Руки дрожат, но голос всегда спокойный.
Он читает стихотворение. Тема: родные просторы.
Общий смысл: людей убрать, просторы оставить.
Или: люди — говно, просторы великолепны.
Или: вот я один стою на просторах, чудесная картина.
Где же связной? Почему никто не подходит?
Двадцать лет одинокой борьбы.
Силы на исходе, веры почти не осталось.

✦ ✦ ✦

Жизнь — лучший подарок. Какие книги?
Древние цари говорили: «Дарю тебе жизнь».
Спасённый падал в ноги, благодарил со слезами.
Древние люди читать не умели. Мало кто слышал о книгах.
Однажды один говорит: «Не нужно мне жизни, подарите книгу».
Что за вещь такая, книга, если жизни дороже?
Так и стала книга лучшим подарком.
Жизнью не осчастливишь, никого уже не одаришь.

† † †

В 1984 году мы сбили самолёт из Южной Кореи.
Погибло четыреста человек.
Мы жалели, жалеем и будем жалеть.
Повезло, на борту не оказалось лесбиянок и геев.
Понадеемся, не будет и впредь.
Нас бы уже замочили,
Мы бы давно истлели:
Мировое сообщество не прощает такие потери.
Крепите мир. Не сбивайте самолётов.
Любите лесбиянок и геев.
Писателей, музыкантов, особенно из евреев,
Берегите от отечественных идиотов.
Ищите прекрасного:
Голубого, красного, инопланетного, инопомётного.
И-го-го!
Бегите лагерно-пулемётного.
Сами пройдём парадом по Красной площади
С транспарантами: «Мы вам рады!»
Коммунисты, геи, инопланетяне, — вы наши хорошие,
Революционеры, умники, безобразники,
Простите обиды старые, за-ради праздника.

† † †

Ваня, постмодернист с девяносто второго,
Антон, юзер с двенадцати лет,
И Валера, гей,
Вышли из горящего бронетранспортёра.
С криками «Мать вашу!» били врага в упор.
Не отступил ни один.
Мёртвых товарищей несли через вражеский лес.
Хорошие оказались ребята.
Родина, ты не права.

† † †

Юный герой, приготовься к смерти.
Это как пробный ЕГЭ, только проще.
Два варианта ответа. Времени, сколько попросишь.
«Да» или «Нет» печатными буквами. Чёрной ручкой.
«Да» или «Нет» — это совсем не сложно.

Всему, где говорят о радости, старости сытой,
О подвиге, под присмотром врачей, объективов, —
«Нет» напиши.
Там, где обещают тебе нищету, болезни, гибель, забвение, —
«Да» отметь.
Никогда, ничего с тобой не случится плохого.
Бумаги отправлены. Дата экзамена неизвестна.
В жизни твоей смерть никогда не станет предметом торга.
Будет смертью обыкновенной, как у деревьев, птиц, людей.

† † †

— Хорошие люди пришли! Предлагают хорошие деньги.
— Послушай себя. У хороших людей не бывает хороших денег.
Все хорошие деньги у нехороших, плохих людей.
Смотрят хорошие люди в глаза людям плохим с уважением,
Вдруг денег дадут.
Плохих людей на земле с каждым годом становится меньше и меньше,
Скудеет земля.
Однажды останутся только хорошие люди на бедной, бедной земле.

† † †

Милый Боже, до чего же
Жизнь хорошая была.
Жизнь хорошая была!
В чистом поле без угла
И в мороз со снятой кожей
Дара не было дороже.
Жизнь одна не подвела.
Отбыла, жалеть негоже.
Ты с неё не спросишь строже:
Жизнь хорошая была.
Сажа дней белым-бела.

† † †

В парке покалеченные ангелы.
Похоже, это бывшие пионеры.
Потеряли книжки, авиамодели, горны.
Путь был долгим.
Серым крошится бетон.

Арматура кровит под дождём.
Если сожмёшь, ладонь станет чёрной.
Три дня не отмоешь.
Побитые камнями. Без глаз, без носов.
Остались только улыбки.
Ангелы не улетят.
Доживут вечность в парке.
Людей они не боятся.
То, что не убивает,
Делает нас счастливыми.
Время такое пришло:
Выживут ангелы и герои.
Улыбнись, выбора нет.

✦ ✦ ✦

Будем делать добро из зла.
Дом из воздуха. Хлеб из говна.
Нету войлока, нету льна.
Есть отчаянье, тишина.
Вода горькая. Смерть ряженая.
Безысходность светлая, выдержанная.
Счастье короткое, рыжее.
Сделаем — выживем.

ИНТЕРВЬЮ

Некоторые Ваши тексты очень открыто касаются темы, которую большинство авторов обходит стыдливым умолчанием: темы «каково быть поэтом», «что значит — быть поэтом». Интуитивно кажется, что на эту тему рассуждать в стихах поэту не очень выгодно: говорить о ней — значит, подставляться читателю, создавать миф о «жизни автора», которым тебя же самого могут начать мерить; рисковать попасть на территорию комичного пафоса, которым современная культура часто болеет при рассуждениях о «Поэте» и «Поэзии». Почему Вам не страшно касаться этой темы?

Я могу поделиться лишь собственным «неправильным» пониманием природы взаимоотношений человека с поэзией. «Позорные темы» затрагиваю с занудным постоянством. Они волновали моих любимых поэтов прошлого, и мне не стыдно разделить с ними вечный позор. Я писал уже однажды: в день, когда я понял, что хочу быть поэтом, поехал на майдан Незалежности, тогда площадь Независимости, в Киеве, зашёл в магазин «Поэзия» и купил альманах «Поэзия». Мир разворачивался из точки, из единственного слова. Решил, что не упущу ни одного случая, когда будут читать стихи и говорить о поэзии. Ходил на все вечера, засиживался на кухнях, купил собрание сочинений Михаила Светлова за рубль в букинисте, прочитал. Саша Карабчиевский копался в пунктах приёма макулатуры и притаскивал мне книжки в плетёной авоське, которые не принимали в букинистическом отделе. Авторы книжек не помню, не встречал после ни живьём, ни упоминанием имён. Трудно ответить «каково», я не был никем другим. Хотите, отвечу, «каково быть мной»? Очень, очень хорошо быть Пухановым Виталием Владимировичем. Школа, к которой я себя самозвано причисляю, отстаивает традицию отношения к поэтическому тексту как к пространству предельного «переживания», требует точности военного рисовальщика в фиксации случайных примет неповторимого, невозможного, что нельзя пережить, а только «описать словами». Это поэтика нагнетания смысла и значимости жизни в пустое холодное сердце реальности. Формальная сторона письма не имеет значения, но в рифму удерживать порядок слов под давлением проще, они как бы в скафандре, оттого и пожатие у стихотворения бывает неуклюжим, как у космонавта или водолаза, но сердечным, искренним. Личные драмы поэта — древесные щепки для растопки антрацита чужого страдания. Дальше тепло даёт язык, история вещей и людей в бесконечном обороте. «Работает не человек, а инструмент», говорят гастарбайтеры, отрываясь на минуту от бетономешалки. В поэте основную работу делает творческий метод, я так полагаю. В моём случае это метод прагмагерметики. Я не понимаю, чего стыдятся поэты. Глу-

по писать с оглядкой: «ой, а не вступил ли я, как в комсомол, на территорию комичного пафоса? Что люди скажут?» Люди не скажут ничего. Людям безразличны чужие чувства. Иногда интересны чужие тексты. Реакция на чужое высказывание — всегда реакция на себя родного, услышавшего речь извне. Я окончательно понял это после дискуссии про «Блокаду». Меня в ней не было, хоть имя моё и склоняли. За стихи не расстреливают, не сажают в тюрьму. Ну, решат, что ты дурак, пошляк и сволочь, не напечатают в «Воздухе» или в «Новом мире», или нигде и никогда не будут печатать — вот и вся травля по лицензии времени. «Каково быть поэтом» — можно по смыслу раскрыть и так: «каково быть человеком, способным называть вещи своими именами», стоять Адамом в кроссовках Адидас посреди разрушаемого истории райского сада жизни.

Всё, что нам известно об устройстве внутреннего человека в нас, мы знаем со слов поэтов. Подлинность свидетельств определяется одной силой воздействия поэтического текста на слушателя, читателя. Встречная вера сказанному закрепляет поэтическую речь как факт. Что сравнится по силе с достоверностью стихотворного сюжета — миллионный протокол? «Быть поэтом» означает в наши дни быть «говорящим человеком», лабораторной говорящей собакой, если хотите, лающей в рифму и без неё о том, как великолепна и несправедлива жизнь, загадочна смерть, как страшно всё терять, как стыдно. Энергия стыда неисчерпаема, она способна двигать валуны слов и складывать из них циклопические строения поэзии. Назовём энергию красиво: «эстетика поражения».

Медицина пытается расписать пошагово, «каково быть человеком», представителем биовида. Принимая на веру медицинские прописи с их статистикой и чудесными исключениями, шаткой гендерной осью, человек живёт вполне счастливо, помня, что его ждут болезни, старость, беспомощность и смерть. Человек противопоставляет диагнозу обречённости личную волю, культуру жизни, героически сражается за здоровье, рассудок, красоту и долголетие. И неизбежно проигрывает в итоге. «Мы боролись и были побеждены» — произносили древние с достоинством. Так и с поэзией дело обстоит. В моём понимании, ещё раз подчеркну.

Отдельный, но связанный с предыдущим вопрос: фигура поэта в ваших текстах (того самого, который плутает в садах словесности российской; того, которого дар сделал жертвенной скотиной, того поэта, которым лучше не быть, а быть маменькиным зайкой, — и т.д.) — и поэт Виталий Пуханов: как они соотносятся? Действительно ли, скажем, Виталий Пуханов предпочёл бы быть маменькиной зайкой, а не поэтом, — если бы мог? И вообще — а мог бы?

Не знаю, Линор, как Ваша, а моя голова устроена по принципу: говорят и показывают «все радиостанции страны». Думаю, к примеру, трагическое стихотворение, одновременно пишу официальный документ к сроку, отвлекаюсь на несколько секунд дать коммент в журнале, помню о чане с абрикосами на плите, помешиваю каждые пять минут, желательно, чтобы фоном бубнили новости — суета из ящика оттягивает, как тряпка воду, мою собственную суету, и я могу, наконец, сосредоточиться на важном. А презентация идёт последовательно: перед читателем то зайка проскачет, то Цезарь окровавленный проползёт. «Во дурдом» — подумаете вы. Нет — нормальный многомерный человек, привыкший «думать всё».

При чтении Ваших текстов часто кажется, что детство предстаёт в них чем-то вроде любовной драки, такой драки, в которую иногда вступают мальчишки, чья огромная дружба вдруг подверглась какому-то невыносимому испытанию. В ваших текстах так дерутся детская нежность, хрупкость, очарованная влюблённость в мир и бесконечное прямое насилие, безвыходная жестокость, надрывная и слепая агрессия: детство, собственно, часто предстаёт у Вас дракой бабочек и василисков, исход которой, как в любом полубою, не вполне очевиден. Как это сложилось? Почему это важно?

В десять лет меня отправили в Евпаторию, в санаторий, на всю зиму. Я оказался один из немногих «ходячих». Кентавры-подростки носились на колёсных железных кроватях по коридорам бывшего военного госпиталя времён Первой мировой. У меня навязчивое подозрение, что я лежал во всех исторически реконструированных госпиталях. В зале нас ночевало человек сорок, там же учились, лёжа, сидя на кроватях, туда приносили еду, оттуда забирали утки. Я тогда сильно и, похоже, в последний раз тосковал о папе и маме. По воскресеньям убегал в город, заказывал трёхминутный разговор с Киевом. «Пуханов, вторая cabina». И слушал голоса. Разговор иссякал на второй минуте, и я смутно чувствовал досаду за поруганную себестоимость ритуала. Во время прогулок обирал одичавшие кусты шиповника, набрал кулёчек сморщенных ягодок, пришёл на почту отправить родителям посылку. Предложили фанерный ящик за рубль двадцать, в ящике оставалось место, и я напихал туда морских камешков. Царский вышел шиповник. На следующий день за мной «пришли». Оказалось, что в санатории «что-то пропало», и местные пинкертонеры логично решили, что украл я и отправил в ящике. Под «следствием» держали долго, отправили «в карантин на две недели», пока не разобрались с почтой, извиняться не стали. В детстве такой срок — вечность. Потом на пять лет интернат, дальше кишачий личинками банд девяностых спальный район Киева начала восьмидесятых, советская армия первых дней Перестройки, о которой толком ничего не написано, всё — ложные копии ботанских фобий, потом харьковский госпиталь, где мало что изменилось с преследовавшей меня Первой мировой. Сотни афганцев, перемешанные с сотнями «дружественных потерь». В госпитале меня не выпускали на прогулку с диагнозом: «Чтоб не позорил видом советскую армию». Ошибок своих они никому не прощали, лечить солдата могли «весь срок срочной службы». Благо, приехала сестра, устроила скандал, потыкала в нос медицинскими выписками, и меня комиссовали. Дух советской пенитенциарной системы сквозил в детских учреждениях (службу в армии, эфебию, нужно считать детством). Наверно, потому Кафка был самым любимым писателем у юношей моего поколения, а Солженицын, собравший холодающие кровь факты с прилежанием бухгалтера, не донёс воздух лагеря, и новый российский режим, стряхнув с себя позорные детали прошлого, смог интегрировать «Архипелаг» в официальную культуру. Книги Солженицына не порождают конфликта с новой системой государственного насилия.

Ольга Славникова назвала одну из своих книг «Вальс с чудовищем». Много лет я обозначал так свои отношения с государством, обществом и людьми, через которых зло приходит в мир. Чудовище кладёт лапы на твои лопатки и в любой момент может пронзить когтями со спины, при этом смотрит в глаза пристально. Люди, отводящие глаза, — погибают. Хочу верить, что мне удалось «пересмотреть» чудовище, и я успею ещё до конца жизни утомить его вальсом. Родство с детством человек осознаёт в момент взросления, когда расшибается о себя самого: «жди, когда юность твоя плюнет тебе в лицо». А взрослеет человек не по расписанию. Я вот — ближе к сорока.

Мир Ваших недавних стихов кажется куда более дуальным, чем мир Ваших прежних текстов, и рассечение его на несовместимые, а часто и противодействующие части кажется очень радикальным. Что произошло, из-за чего вот эти смешанные отношения любви и ненависти распространились из «детского» мира на весь мир?

Мне кажется, я никогда не был ребёнком: был маленьким человеком, от которого не зависело ничего. Я помню даже привкус во рту, сопутствующий иному событию. Да, многие мои стихотворения — как любительская киноплёнка из семидесятых-восьмидесятых, оцифрованная с помощью современной техники, насыщенная компьютерными эффектами, но фактура оттуда, из детства.

Людей моего года рождения и межевых лет называли «дети детей войны». Государство нами серьёзно занималось: медицина, спорт, политвоспитание. Мы были его собственностью, его детьми, казёнными. Был такой недород, что, когда я оканчивал школу, в стране наступил демографический провал. Некому было идти на заводы, в поля, в армию. Иногда я говорю: Перестройка началась из-за нас, моего поколения. Мы забили на страну, не пошли работать, почти не ели, ходили в рванье, клубились, как змеи, в прокуранных хрущёвках, сочиняли наивные стихи. Никто не хотел будущего, не верил в него, если иной юноша, как принято сегодня у молодёжи, стремился «сделать карьеру» — его презирали, он был отстой. Таким я запомнил людей своего поколения. Сегодня они у власти. Я догадываюсь, многие из них помнят наше презрение. Детство — всегда счастье, даже если окружено насилием. Интернат, к примеру, институт тотального насилия мелочей, музыкальная шкатулка двоемыслия, это страшно, потому что рутина насилия становится привычным фоном природного счастья маленького человека, оставляет золотушный разлом в душе, и оттуда сочится липкий мрак. В редкий момент настоящего счастья взрослый человек испытывает боль и плачет, как ребёнок.

Кажется, что у Вас очень телесные отношения с Россией, что вы вполне буквально чувствуете себя плотью от её плоти, — не в пафосном смысле, а таким способом, что где у неё болит — там и у вас болит. Её история, особенно история последнего столетия, с войной и всем прочим, непарадная география её мелких холодных поселений оказываются у вас чем-то вроде плотной, плотской персональной картины авторского мира. При этом всё время создаётся впечатление, что в ваших текстах, как в бессознательном, история не имеет протяжённости, а происходит вся прямо здесь и сейчас, да и география оказывается вся в пределах досягаемости, как во сне, и нет ничего удивительного в том, что меньше десяти лет назад автор был убит подо Ржевом. Как на самом деле ощущается Вами страна, в которой вы живёте? Как в действительности её мир совмещён с Вашим персональным миром? Вы рассказывали, что в вашей семье не говорили о прошлом, не пересказывали историй, — это как-то связано с таким присвоением всей истории страны как своей, личной, раз не выстроились персонализированные, семейные, индивидуальные зацепки?

Я не стал гражданином мира и, похоже, уже не стану. Блага других цивилизаций мне не нужны, нужно пространство, чтобы блага создавать самому. Мир постепенно превращается в музей, а люди — в старушек-смотрительниц при пыльных шедеврах, сообщающих с каждым днём всё меньше и меньше информации. Важно, чтобы каждое поко-

ление строило свою жизнь, свою культуру и так опознавало себя в истории. Россия — идеальная страна: чистое поле или вечные руины, жизни не хватит обустроить. Ещё здесь «можно делать добро из зла», больше просто не из чего. Есть где приложить своё безумие.

Можно и в пафосном смысле поговорить об отношениях с Россией. Старый пафос много лет хламился на заднем дворе, а пребывание на помойке, знаете ли, очищает, делает ничьими вещь, идею, слово, человека. Бери и носи. Мне не нужен совет сверху, каким местом понимать происходящее вокруг. При рождении мне выдали уши, глаза и немного мозгов, чтобы самостоятельно, без «специалистов», понимать свою страну, знать её историю и жалеть её людей. В двадцать открыл, что поэзия — независимый от историков и обществоведов источник информации. Прочтите стихи такого-то года, и вы всё поймёте о времени без подсказок из учебника. Отдалённость во времени — полная условность, «мы разминулись в вечности на час», нас продолжают убивать подо Ржевом. Не стоит здесь тратить буквы на условность. Рим был вчера. Я бессильный и бесправный хозяин своей страны, который всё никак не долечит детские травмы и не приступит к делу по-мужски.

Про вещный мир, — еда, одежда, пражские швы, — к которому в ваших текстах проявляются такое уважительное внимание: каков он для Вас в реальной жизни? Какие отношения выстраиваются у вас с повседневными (или не повседневными) бытовыми предметами, простыми вещами?

Вот это вопрос личный. Не знаю, что и рассказать. За жизнь не выбросил ни одного предмета, переделывал, пристраивал «в добрые руки». Гоголь и Диккенс отдохнули. В детстве дочь, а теперь Олю развлекаю историями про кастрюлю, зубную щётку, тумбочку. Пересказываю «их разговоры». Мои женщины всегда смеются. Андерсен, конечно, Андерсен, единокровный автор. Наизусть помнил сказки. Я не всегда извиняюсь перед людьми, а перед вещами всегда, если уроню, запачкаю или пну. Когда-то, как все, одевался в секунду, замечал, как со временем ношенная вещь становится на мне новой.

В Ваших текстах часто фигурирует тема: «простой человек» (ну, скажем, районный механик Петров) оказывается внезапно открыт высокой культуре. Это важно? Например, для Вас как для поэта было бы важно, чтобы Ваши тексты читались и понимались людьми, не слишком интересующимися поэзией в целом? Откуда вообще внимание к этому феномену ошеломления культурой, как он начал Вас интересоваться?

Не хотелось бы писать на самого себя донос в налоговую, понадеюсь, что чиновники фискальных служб не читают поэтических журналов. В последние годы зарабатываю «обеспечением хода строительных работ». В хеопсовую рутину входит, благо очень редко, и выкуп людей из рабства. Продолжать не стану: умный додумает. «Простой человек» — понятие непростое, он не обыватель, а обыватели не мои герои. Бездарный раб обречён. Созидание — жребий невольника, господин выражает своё господство через разрушение, ну, Гегеля-то все читали. Я восхищаюсь своими вьетнамцами, таджиками, гагаузами, приднестровцами — талантливыми и мудрыми. Читатели моего ЖЖ знают о моём интересе к проблемам ксенофобии. Прогнозирую: национальные и религиозные

противоречия станут в будущем пёстрой упаковкой скрытых экономических перемен. Дети гастарбайтеров вырастут, выучатся и на чистом русском расскажут нашим детям, как были неправы мы. Лучшая часть дворянства признавала за собой вину в катастрофе семнадцатого года и воспринимала изгнание, прозябание и гибель как справедливое наказание за чваную праздность отцов и дедов. Готовьтесь, господа. Но пока всё очень даже мило — Россия большая стройка, всем хватит хлеба и унижений. «Книга ламинарий» обращена к «простому человеку», в каких бы замороченных социальных и культурных одеждах он ни прятался от себя самого. В эпоху географических открытий капитан Кук под угрозой телесных наказаний заставлял матросов жевать квашеную капусту, чтобы не болели цингой, а я в эпоху географического кретинизма под угрозой увольнения, со словами «мне идиоты не нужны», заставлял рабочих есть морскую капусту, ламинарии. Привыкли, говорят: «не забудьте привезти йод для мозга». Если уж обречены мы здесь быть страной идиотов, то пусть развивается хотя бы просвещённый идиотизм. Да, читал стихи милиционерам, и они отпускали моих людей. Читал «начальникам» подмосковных свалок и «директорам» вторчермета, и они бесплатно пускали меня в закрома Родины. Стихотворение «Высрал печень я свою» стесняюсь разместить даже в ЖЖ, а оно принесло мне больше «дохода», чем вся предшествующая литературная деятельность. Фигура поэта остаётся священной и неприкосновенной, при условии, если «не отводишь глаз».

В армии я почистил в один присест ванну лука, наверно потому у меня и после сорока идеальное зрение. Видеть добро и пользу там, где их нет, — всё, что нам остаётся в дурной бесконечности русской истории. Нетинебудет. «В Йоркшире я знал старушонку, она ела манку и пшёнку. Невкусно? Зато не смог бы никто мотовкой назвать старушонку» — присказка на все случаи жизни. Отец рассказывал, что на войне выживали весёлые солдаты. Под Прагой в 1946-м они хохотали. Катали немецкие мотоциклы с горки, не было бензина, потом катали наверх и смеялись. Особенно важен был смех в госпиталях, где люди гнили месяцами, предоставив организмам самим решать вопрос в пользу жизни или смерти. Об этом и «Тёркин» Твардовского. Назвал новую книгу «Весёлые каторжане», не сомневаюсь, меня поймут верно.

Вы сейчас оказались очень медийно вовлечённым человеком — статьи (например, блок в «Новом литературном обозрении»), интервью. Как это ощущается? Что меняет?

Не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешались, не извели на меня мозгового картриджа Илья Кукулин и Станислав Львовский. Сослагательного наклонения не имеют даже маленькие «истории», но всё-таки. Теперь меня труднее будет замалчивать. Дышу легче, больше пишу, жить стало светлее.

Повторюсь: ужас ужаса не в самом ужасе, а том, что он заполняет собой жизнь день за днём и однажды предстаёт человеку в образе счастливого детства, юности, молодости. Приходит время, и человек, тоскуя о «золотом времени», контрабандой протаскивает зло из прошлого в будущее. Зацветает ностальгия по совку. Они правда подзабыли, как всё было отвратительно? Ни одной светлой детали (хоть и в космос летали, балет плясали) не было в том времени: говно, говно, говно ваш совок. Десять лет назад я многое от себя скрывал, думал, мне померещилась моя жизнь. Говорил мягче, опасливее, всё больше на отвлечённые темы. Сегодня мои ровесники управляют страной, во мне

тоже просыпаются патерналистские инстинкты: сам большой мальчик и не позволю ничему возродиться из моего прошлого. Как у русского поэта, у меня есть лицензия на речь. Закрывать мне рот может только человек, который «говорит» лучше, пусть придёт и остановит меня. Я делаю свою работу: говорю в традиционной для русской культуры форме прямого высказывания: публикую стихи. Медийность защищает.

В ваших текстах смерть часто небрежно примеряется автором, как зимнее пальто — летом: впору ли, ничего ли не надо подправить, раз его скоро надевать. И одна из главных вещей, на которую автор, кажется, обращает пристальное внимание в ходе примерки, — «нас нет, а стихи остались, нас нет, а музыка осталась, нас нет, а то, что мы делали, осталось, — что оно, оставшееся, теперь говорит о нас и каково нам, ушедшим, с этим жить?». Вы почти всегда отвечаете на этот вопрос очень тепло — по отношению к другим и довольно жестоко — по отношению к себе: я был прощее, чем вам покажется, хуже, чем вам покажется, пустее, никчёмнее. Почему так важно знать, что будет, когда нас не будет, и почему ответ по отношению к самому себе оказывается у Вас таким, каким оказывается?

Железная машина ездит на жидком топливе. Логичнее было бы кормить её железной стружкой, правильные дети так бы и поступили. Но есть логика результата, которую мы вынужденно принимаем задним числом. Всё, что «работает», принимается обывателем как норма, каким бы безумным ни казался замысел создателя. Лена Фанайлова в интервью «Воздуху» сказала, что для неё важно только то, «что выдерживает сравнение со смертью». Верная и очень близкая мне позиция. Я перефразирую: мне важно то, «что выдерживает сравнение со счастьем». Энергию стыда можно использовать для написания поэтического текста, из энергии утраты, невозвратности отливается чувство счастья. Всё разрушится, что я люблю, все умрут, кого я люблю, умрут и те, кого я ненавижу, и за это я их уже люблю. Мне не нужна вечная игла для примуса. Меня окружает мужественный и одновременно кроткий мир вещей, слов, звуков. Без них кто я такой? Они — герои. Я могу только дать им поговорить друг с другом в стихах, «которых я поэт».

Беседу вела Линор Горалик

ОТЗЫВЫ

Константин Кравцов

В одном из стихотворений, с которыми Пуханов поступал в Литинститут, была такая строчка: *мы совершенны в гребле на галерах*. С той подборки до имеющей выйти книги «Весёлые каторжане» временной промежуток более чем в двадцать лет, но и тогда и теперь, как видим, Виталий ощущает себя исключённым из общепринятого порядка вещей, и не только социального, но и метафизического, культурного, любого, что и определяет его поэтику. «Деревянный сад», «плоды смоковницы», выросшие в этом неживом и всё же живом саду, отбрасывающем драгоценные тени:

Когда б меня не гнали отовсюду,
Когда б остался дворником теней,
Ловя её как воздух, как причуду,
А я умру от состраданья к ней.

Сострадание — вот чем особенно привлекательны плоды на этой то ли пощаждённой, обложенной навозом и начавшей наконец-то плодоносить смоковнице, то ли на смоковнице проклятой, иссохшей до корня, но тем не менее тоже плодоносящей каким-то непостижимым образом, — плоды на древе познания добра и зла, бывшего именно смоковницей согласно иудейскому преданию. А ещё они очень изящны, эти плоды, горьковатые на вкус, выжженные иглой на гравюре позднего средневековья. В его осени, похоже, и живёт Пуханов — дворник теней, совершенный в гребле галерный раб, веселящийся каторжанин, предпочитающий всем формам существования будто бы каторгу, а на деле — свободу. Так в СССР до «оттепели» единственными, кто был свободен, были лагерники, так свободны те, кто ни за что не цепляется, зная, что всё — суета («пустая тщета», согласно новому переводу), и различая сквозь неё некую *причуду*, умереть от сострадания к которой и означает жить.

Юрий Цветков

Я познакомился со стихами Виталия Пуханова в середине 90-х по его замечательной книге «Деревянный сад». Эта книга сразу привлекла к себе внимание и получила большое признание среди людей с различными литературными пристрастиями. Моё лю-

бимое у Пуханова из того сборника и вообще его визитная карточка: «Боже, храни коло-радских жуков». Стало понятно: пришёл поэт со своим творческим методом, совершенно ни на кого не похожий.

Поэтика, которую он один сознательно и успешно разрабатывает, мы с ним об этом часто говорим, в какой-то мере продолжает послевоенных советских авторов — таких, как Евгений Долматовский, Лев Ошанин («мы неучи литинститутские, Ошанина ученики») и др. Пуханов уникален в том числе и потому, что работает с тем материалом, к которому никто не прикасается. Отталкиваясь от советской поэзии в её, часто бывает, дурном изводе, пропуская её через себя, Пуханов выдаёт, пусть иногда на грани фола, иногда популистское, но что-то очень искромётное, талантливое и актуальное. Откуда это, если не видеть контекста: «после мы ели одну лебеду», «и потому, найдя у жизни дно», «больше нечего в мире любить»? Понятно. А в целом получается:

Кажется, в семьдесят пятом году
Кто-то был удивительно точен в стихах.
Я стихов тех никак не найду,
И поэта не вспомню я, звали как.

Жёлтый свет. Он читает стихи.
«Ах, — говорят, — Как он точно сказал!»
Плачут женщины, старики,
«Бу-бу-бу» наполняет маленький зал.

Кто это был? Что он сказал?
Плакали все, говорили: «Ах!»
Узелок на память я завязал,
Память сама превратилась в прах.

Позже я принял твою судьбу.
Если ты слышишь в иных мирах,
Слушай: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу...»
«Ах-ах-ах-ах».

Образом является все стихотворение.

Успех его не случаен. Мне не очень нравится недавняя шумиха вокруг его стихотворения о блокаде «В Ленинграде на рассвете», но я радуюсь за него, когда его поэзия находит отклик у читателя. Лично у меня находит. Когда спустя 10 лет после выхода «Деревянного сада» мы только задумывали литературную программу будущего проекта «Культурная инициатива», одним из первых я пригласил Виталия — это был четвёртый по счёту наш вечер. А потом был и вечер цикла «Полюса» с его участием — где Пуханов много и близко мне говорил о том, что сейчас очень многие научились писать стихи, версификационный уровень как никогда высок, но поэзия — это ещё и личность, позиция. А вот с этим у нас не всё хорошо. Случай Пуханова в этом отношении обнадеживает.

Евгения Риц

В марте в Нижнем Новгороде был вечер Виталия Пуханова, где он читал и новые стихи. И я вспомнила, как впервые увидела его стихи в более или менее подробном количестве. Это было в одном из живых журналов году в 2003-2004-м. Там были стихи про Баха, про Моцарта, про колорадских жуков и другие, такие же лёгкие и весело-трагические. И, если я правильно поняла и запомнила, человек, который разместил тексты Виталия у себя в журнале, специально оговаривался, что это стихи 10-15 летней давности — в наше время подобная лёгкость уже невозможна, она ушла вместе с эпохой. Я тоже так думала. И вот оказалось, что в новых стихах Виталия Пуханова тоже всё это есть, и, может быть, ещё сильнее, ещё веселее, ещё трагичнее. То есть всё-таки оказалось, что это свойство поэта, а не эпохи. И теперь я про это периодически вспоминаю, из головы, собственно, не выходит — *и мне хорошо*.

Алексей Прокопьев

Поэт Пуханов решил просто. Вы там молитесь на своей латыни. А у меня времени нет писать, как вы, сложно и темно. Акцент здесь на «времени нет». Поэт не отрицает умные книги. Отрицает ли он заумные? Недолюбливает метафизику? Не доверяет сложному в самом себе туману?

Да нет. Поэт Пуханов решает просто. У меня нет времени. Он это решает для себя, а не для других, не для того, чтобы провоцировать читателя/собрата-поэта/врача. (Оттого-то, кстати, многие и ведутся, и провоцируемы становятся, что поэт с собой прежде всего хочет разобраться, со своим пониманием истории, родины, народа, Пушкина, в конце концов.) Есть простота, которая хуже воровства. Это простота поэта Пуханова. Только воровство здесь не то, что карается статьёй УК. Это воровство, на которое каждый имеет право, да вот мало кому достаёт мужества.

Но — и обратно — простота, которая ещё «хуже», начинает свои игры с поэтом Пухановым.

Поэт Пуханов (кажется нам, а на самом деле — нет) думает, что это он волит стихом, дак ан нет — стих волит им. И поэт Пуханов уступает — всем этим отмеченным зоркими критиками — смещениям синтаксиса, сдвигам смысла, рваному ритму, вкраплениям прозы, особенно в последних стихах. Приёмам, проще говоря. Ну куда от них деться? Не заслонишься ведь когда намеренной, а когда случайной небрежностью стиля. Не отшутишься. Выражается поэт ясно, иногда и яснее ясного, говорит без обиняков, да и бранью, если что, не побрезгует — а приём-то вот он, и как таковой может быть, не всегда, не сразу, но может быть выделен. Ну если не выделен, то распознан (трудно приходится филологу, инструментов у него почти никогда нет, а старые почти никогда не годятся). Иногда поэту даже приходится «оправдываться» — мол, вот что я сказать хотел, а не то, что вы подумали. Зачем же оправдываться? Да потому что стих так хочет! И поэту Пуханову достаёт ума не сопротивляться ему. Достаёт вкуса, таланта настолько, что, кажется, обретает он право на самые запретные темы, на табуированные смыслы, на непроговариваемые в «приличном» обществе сюжеты. Так они и играют друг с другом. Стоит поэту начать диктовать стиху, что́ тому следует делать, как появляется и начинает что-то

тут нам распевать милая дидактика, чем-то напоминающая эпиграмму, пышно расцветшую в европейской поэзии XVIII века. А и то — поэт Пуханов для себя правильно решил, что он в начале пути (ведь для новейшей русской поэзии это было начало), всякий настоящий поэт — в начале пути. Штука вся в том, что путь, пройденный другими, тоже учитывается. В общем, это трудные игры. И это честные игры.

Вырастет ли из всего этого настоящая борьба с пошлостью (глянцем, гламуром)? Вырастет, если поэт Пуханов будет одновременно и достоин сам себя, и, как пушкинский Моцарт в сальериевском толковании, «недостойн». Противоречие здесь только кажущееся.

Алексей Кубрик

Стремительно дождливым осенним утром собрался писать о стихах Виталия Пуханова, с которым я знаком лично вот уже двадцать лет. И в этот момент, как это часто бывает в «мультимедийном» пространстве, попалась мне на глаза *Инаугурационная лекция по случаю присвоения звания доктора богословия honoris causa* Ольги Седаковой. Дочитав оную до конца и вспомнив её творчество в целом, я был готов констатировать, что творчество Седаковой (на мой вкус) является естественным полюсом поэтического мира Пуханова. Лирическая дерзость свищущего на горной тропе, а не полное снаряжение изящного альпиниста с парой страховок, выданных свыше. Рискованное расширение диапазона лирических переживаний, а не кропотливое сидение за пальцами вошедших в тебя молитв. Романтизм в миксере реализма, а не классицизм в термосе философии. Бьющийся о прозрачную смерть мотылёк, а не плывущий в вечную пыль аккуратный ящичек энтомолога...

Нет, всё не так. Центробежное как центростремительное бытие... Ритм — старший козырь. Это он создаёт тот центр, вокруг которого лирическое высказывание становится единственно возможным. Я не могу ни слушать, ни читать (за редкими исключениями) стихи Седаковой именно потому, что их ритм вынут из сердцевины речи и брошен на произвол строгого мышления. А Пуханов, несмотря на всю разницу наших эстетических воззрений, мне интересен, он меня уже не раз завораживал и удивлял. Думаю, так будет и впредь, и песнь Вальсингама песенке Мэри противопоставить не удастся.

Аркадий Штыпель

Самое трудное для любого грамотного стихотворца — называть вещи их изначальными именами.

Нынче иносказание стало родом поэтической вежливости.

Незаурядный поэт всегда так или иначе невежлив.

Пуханов — поэт невежливый.

И слова у него — неправильные, прямолинейные.

Впрочем, от иносказания не уйти и Пуханову, и кто его знает, что он хочет нам сказать своими вроде бы такими прямыми словами.

Дарья Суховей

Что интересно в поэтике Виталия Пуханова сейчас, когда есть возможность читать его блог в Живом журнале, — так это видимое раздвоение, расслоение лирического героя. Один похож на человека-Пуханова, афористично ламентирует, которые называет морскими капустами — т.е. ламинариями, профетирует короткие стихи временами чуть ли не летовского накала, примерно такие:

Лучше всего человек сохраняется при температуре двадцать два градуса по Цельсию. Человек сохраняет полезные свойства и качества в среднем семьдесят лет. Срезанный с материнского черенка, человек продолжает развиваться весь срок хранения. Берегите себя, сочные, полезные, вкусные овощи.

Этот Пуханов нормален настолько, что и поэтом в такой ситуации обычно быть не приходится. Хотя такие поэты есть — поэты для чистых здоровых людей, пишущие понятно и, как правило, не вызывающие никакого особенного интереса. Пуханов, естественно, не такой, он заведомо сложнее, потому что в его стихах положение нормального человека в нормальных обстоятельствах само по себе ненормально.

Второй напоминает очевидно сдвинутого по фазе персонажа, живущего неправильно и в неправильном мире. Здесь не работает устоявшаяся система моральных ценностей. И вообще никакая не работает. Именно к этому слою относится нашумевшее стихотворение про Ленинградскую блокаду. (Здесь я отвлекусь на полслова, ибо обычно до хрипоты спорю с разными людьми о том, важен ли при тексте контекст. Я считаю, что важен. Мало того, если при тексте нет даты создания, дат жизни и географии проживания автора, то нет и полноценной возможности решить, хорошее это стихотворение или плохое.) Включение стихотворения Пуханова про блокаду в цикл ему подобных по сдвинутости лирического героя «Разговоров каторжан» (или — по метке в блоге — «Весёлые каторжане») не столько оправдывает автора в правоте высказывания, сколько помогает понять, что точка отсчёта находится где-то не там, где мы её хотели бы увидеть. Потому что на самом деле — это прямая речь одного из персонажей книги, может быть, романа в стихах — «шестьдесят первый говорит Александру Секацкому». Мы отвыкли мыслить поэмами, но это не значит, что их не пишется вовсе. У меня есть основания верить автору, что это не позднейшая правка, а так оно и было в самом начале, когда стихотворение читалось впервые вне цикла и обсуждалось вне цикла. А в цикле есть как минимум ещё одно стихотворение «рассеянный каторжанин вспоминает», в котором примерно та же система приёмов:

Подъезжаем. Как я рад!
Это город Ленинград.
А с платформы говорят:
Это город Сталинград.
Эй, перрон освободите,
Едет следующий отряд!
Выходите и бегите,
Убивайте всех подряд.

Однострельные винтовки
Подбирайте на бегу
И стреляйте по врагу.
Мы пройдем без остановки
Бологое и Поповку,
Мы вернемся в Ленинград.
Здравствуй, Сталин, город-брат!

А вообще блог блогем, но мне хотелось бы прочитать бумажную книгу.

Леонид Костюков

Виталий Пуханов убедил меня как поэт начиная с «Деревянного сада». Отдельные его стихотворения я видел и раньше, например, в «Латинском квартале», и полная самостоятельность была уже там. Но эти отдельные стихи были как артефакты — на миг нарушающие привычную картину мира, но она успешно зарастала. О чём-то подобном писал Заболоцкий в открытом письме Введенскому. От «Деревянного сада» как цельного высказывания отмахнуться уже не получалось — да и не хотелось. Он «разрушал домик» — как сказали бы теперь, вторгся в личное пространство. Терялся уют — зато обреталось что-то не в пример важнее. Свежий воздух. Подлинность. Пушкин в одном маленьком эссе риторически спрашивает: может ли быть хороший завтрак лучше плохой погоды? От стихов Виталия начиная с 1995 года веяло плохой погодой.

Вообще-то поэт должен меняться, осваивать новые территории, а Виталий скорее утверждает на достигнутом плацдарме. Возрастает, однако, дальность выстрела — и, казалось бы, не сходя с места, Виталий Пуханов бьёт далеко во все стороны света. Что важно — он не опускает поэзию до насущных нужд, а поднимает — социальное, сиюминутное — до настоящего, «золотого» уровня поэзии.

Без Пуханова современная русская поэзия уже непредставима. Это довольно веская фраза, но здесь фамилию можно ещё варьировать двадцатью способами. Давайте попробуем сказать что-то более штучное, именное.

По-моему, Виталия Пуханова сближает с любимыми им Георгием Ивановым и Булатом Окуджавой одновременная простота исполнения и убедительность результата. Эти стихи влияют не только на художественно близких, но и на дальних совестливых поэтов. Они ставят под крупное сомнение разнообразные сложные алхимические системы, долгие эстафеты косвенности. Если воспринимать национальную поэзию как длящийся диалог, то Пуханов ощутимо меняет тон этого диалога, говоря прямо, кратко, горячо и по делу.

Это на данный момент.

Д Ы Ш А Т Ь

СТИХИ

Борис Херсонский

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ДОМ

† † †

говорю полузабытыми словами о полузабытых
вещах тарелках и судьбах треснутых и надбитых
орденоносных примусах выброшенных на свалку
жизнь уходит ни шатко ни валко опираясь на палку

добытую в австрии в сорок пятом в эмалевых медальонах
названьях альпийских курортов предсмертных столах
разрухе трудовой дисциплине во всей красе крива и горбата
в кино имени фрунзе фильм про шпионов сходим ребята

ряды коммунальных счётчиков со счетами
где-то рядом с амфорами копьями и щитами
статуя сталина баба каменная на кургане
помойка в душе в квартире бардак водка в стакане

и чего ты стал как вкопанный коснея старея
нам не сюда в грядущее да покраше да поскорее
как говорится спасибо этому веку этому дому
крепкому развесёлому седому граду содому

† † †

Хромолитогравюра. Одиннадцатый год.
Русский монастырь. Афон. Святая гора.
За куполами море. По морю плывёт пароход
плюс парусник. Эту-то красоту я приобрёл вчера

на Староконном рынке. Треснутое стекло,
картинка ободрана по периметру. Что ж,

зато в воскресенье утром было солнечно и тепло,
и это — конец октября! Вот так спокойно идёшь

вдоль бесконечного ряда старух, разложивших товар,
бусы — стекло, пластмасса, цветное шмутьё.
Иногда забываешь, что сам ты почти что стар,
Маркс ошибся. Какое сознание, такое и бытиё.

Теперь смотрю на картинку, считаю монахов, их шесть,
все по стойке смирно, на равной дистанции, все стоят на своём,
лицами к зрителю. До войны у них ещё есть
три года молитв о мире. А мы всё чего-то ждём.

✚ ✚ ✚

Уже не слышишь хода стенных
часов. Подкручивая пружину,
ощущаешь толчкообразное сопротивление,
но нет характерных щелчков.

Не узнаёшь голосов
любимых певиц, хотя мелодии песен
узнаются легко, и если держать
в руках конверт от пластинки, то голос
опять становится узнаваем:
зрение помогает слуху.
Впрочем, и зрение тоже.
Вот она сидит,
показывает тебе какую-то мелочь,
говорит: ну, разве ты не видишь?
И что ответить?
Да-да, теперь я вижу!
Неправда, не видишь, но так оно легче.
Не объяснишь же ей, что ты в полном порядке,
просто мир теряет чёткость
и крадётся почти беззвучно.

Хуже в церкви. Где-то минут через сорок
нарастает шум, сквозь который почти не слышен
хор. Пульсируют низкие звуки.
Какой-то треск. Но тогда вспоминаешь
граммофон и опять же пластинку.
Запись духовной музыки десятого года.
Тяжёлый чёрный диск с зелёной наклейкой.

Шума и треска было больше, чем звуков,
но звуки были слышны, когда вспоминаешь,
становится легче, да, становится легче.

Хотя граммофон уже продан, и где та пластинка?

Встретив друга, не спросишь: что слышно?
скорей — что не слышно, но музыка остаётся.

Хотя бы тот тяжёлый диск с зелёной наклейкой.
«ZONOPHON» — так называлась фирма.
Или я ошибаюсь. Бортнянский. Трио.
Архангельский глас вопиет Ти, чистая,
радуйся, благодатная: музыка остаётся.

‡ ‡ ‡

Муляжи, модели, протезы, макеты:
составы, бипланы, яхты, ракеты,
действующие автомобили. Бездействующие пистолеты.

Планки, проволока, картон, бумага,
короткий полёт, искусственная отвага.
Расстояние от первого до последнего шага.

Скрипят сочленения в ожидании смазки.
Во вспышках салюта мелькают чёрные маски.
Ребёнок не может заснуть: вспоминает сказки.

Говорящая печь — то ли танк, то ли робот.
Механический заяц с барабаном не так уж робок.
Завалим всю комнату, если вытащим из коробок

заводного щенка: головой качает и лает,
неваляшку — валится на бок, вставать не желает.

Всё щёлкает и звенит. Ничего ничем не стреляет.

‡ ‡ ‡

носишь разный хлам в квартиру чтобы не пустовала
напеваешь песню которую мать напевала
кружевные салфетки китайские покрывала

ничего что всё меньше места среди разнородных
предметов выпуклых плоских холодных
никому не нужных господу не угодных

ничего что живёшь как в подсобке у антиквара
у дядюшки якова всякого как известно товара
продашь и перепродашь не получишь навару

золочёный с чернью подстаканник да нет стакана
серебряные чешуйки копеечки иоанна
на львиных лапах с шарами чугунная ванна

красномедный чайник местами позеленевший
камин за всю зиму никого не согревший
дом переполненный человек опустевший

✚ ✚ ✚

они нам першинг мы эсэсдвадцать
людям-то людям куда деваться

зима вишь ядерна вошь ядрёна
одна рассея непокорённа

что небо коптить табачным дымом
запасёмся самым необходимым

бурым тяжёлым хозяйственным мылом
пачками серой соли про спички
не забыть ещё димедрол с барбамилом
говорят уже на границах стычки

и ещё в запас смиренье терпенье
сольфеджио хоровое пенье
пианино под кружевною салфеткой
чай тридцать шесть с конфеткой

никелированный подстаканник
пересохший медовый пряник

графинчик с наливкой вишнёвкой в буфете
ржавая сельдь на газете

буржуйка что бабку в гражданку грела
бидон с керосином чтоб лучше горело

† † †

Чего только мы не натащили в дом!
Всё завешено и заставлено, не повернуться — беда.
Не купили лишь самовара. Когда-нибудь, — думал, — потом.
Потом превратилось в «теперь», в «тогда».
Эх, купил бы я самовар, но представляю с трудом,
что с ним делать и, главное, поставить его — куда?

— Себе на голову! — сказала бы мама, и была бы права.
Пузатый, медный, с медалями — хорош головной убор.
Митра или тиара. Надел — выходи во двор,
бери топор, в щепу наколи дрова.
Для тульского самовара еврейская голова
подставка что надо, кто спорит, какой разговор.

Сверху вставил никелированную трубу.
Из трубы валит дым, из самовара — пар.
Мечты закипают. Пот проступает на лбу.
Варит твой котелок. На котелке — самовар.
Походил бы так, насмешил людей, испытал судьбу,
но, боюсь, уже невозможно — стар.

Александр Месропян

ЯБЛОКО И СИГАРЕТА

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ МАНЫЧА». 5-Я ПОЛОСА.
РУБРИКА «ЖИТЕЙСКИЕ ПЕРЕКРЁСТКИ»

упаковщица № 4 родных просторов
липких в вафельной крошке кокосовой стружке
дёшево и сердито от разговоров
переходит к делу бьёт морду бухой подружке
сожителя гришки вцепившись в хлипкие патлы
сука ты страшно кричит ей шёпотом падла

•

в тот же день оператор 38-ая слетает с катушек
взлетает над городом отключённым ею от мира
кричит помолчите же блин меня что-то душит душит
а под нею проходит марш проходящих мимо
она кричит простите меня всё равно простите
я его убью и делайте что хотите

•

и ещё одна маленькая совсем третья в пятом ряду совсем одна
с короткою стрижкой со страхом во все глаза
на фоне дождя вот-вот закричит я совсем одна
мне осень ясна что скрип деревянного колеса
что звон заржавленной цепи сквозной воды
я буду тонуть а ты отвернись будто бы и не ты

✦ ✦ ✦

случайный следак так сосед по столику в наливайке где-то около восьми
давай брат знакомиться говорит фима можно серёга

ещё по сто брат устал как собака кого ни возьми
все врут сил нет никаких ещё немного
сам скоро боюсь кого-нибудь порешу мне бы крылья и тихо глядит глазами

там ну ты понимаешь о чём я да
достаточно явки с повинной или признательных показаний

а это ж мне как два пальца
сущая ерунда

✚ ✚ ✚

равшан чуть медленней сказал что он бахром но он привык
тогда давно сказал пришёл просить аллах вернуть мой сын
а там омон туда-сюда всё перепуталось потом похолодало
потом пришёл ваш бог просить вернуть мне сын
мой мёртвый сын ваш бог он знает как тут много наших
и всем есть мёртвые всем холодно всем стыдно все привыкли

✚ ✚ ✚

терпеливо ли тебе Таня в мамином доме таять

да отвечай Таня терпеливо мне там и правильно

а не странно ли тебе Таня там до сих пор
никак не дотягиваться до антресолей где всё спрятано
где пыль где в газету ломкую что-то завёрнуто аккуратно

нет отвечай там не странно мне это и правильно
и не надо было мне всего знать никогда
и теперь не надо

правду ли Таня говорят что рвётся не там где тонко
а там где долго ждёшь чем пристальней тем вернее

только не отвечай

молчит Таня

а не врешь ли ты мне

плачет Таня больше не плачет

† † †

у меня тут рядом река так получилось что я не видел её наверное целый год
даже больше знаешь работа дом смерть смертию смерть погоняет вот
а у реки берега помню один повыше другой пониже один полынней другой наоборот
на одном из них я живу на другом кто-то другой живёт

а в реке есть рыбы живые рыбы они живые я видел их на базаре
они разевали рты скользили сказать говорить ничего не сказали
я даже не знаю точно как переводится ли сполна имя моей реки
на оставшиеся после нас языки

ЯБЛОКО И СИГАРЕТА

а в рюкзаке у нас было яблоко для тебя, а для меня — сигареты

ящерка ли ты моему мальчику
влажных заутренних трещин горячих камней живёшь будто не помнишь
но я то знаю что быстро и любопытно тебе убежать
отвечай же немедленно глубоко ли
правда ли там темнее
прохладнее ли
ящерка ли ты или так промелькнула просто

спи завтра
мы потратим немного монет из твоей копилки вернуться домой
по пути если повезёт
найдем жука насвистывающего предсмертно
бабочку с цифрой четыре на правом крыле
пшеничный колос
и может быть первые капли дождя будут крупнее даже чем мы придумали

разве ж это пыль
вот раньше была пыль да
перетёртая вусмерть железными ободами тележных колёс пыль текла
тяжёлая
точно вода только всегда теплее
от брошенного камня расходились круги
от любви сжималось сердце а мы не знали что это любовь

потерянной крови по следам найди надломленную стрекозу
и скажи мне ну вот есть у нас теперь
две надломленных стрекозы
катушка шёлковых ниток и папиросная бумага

можно сделать всё
немного ещё поживём и полетим
куда захочем

всё равно все выключатели розетки патроны забиты муравьями
сами жрут электричество
и несут своим муравьиным царицам муравьиными своими тропами
попробуй
на вкус они кисленькие как батарейка
если так и дальше пойдёт
придётся быть в темноте щекотной смешной

никто нас не ждал
виноград исполненный доверху долгим днём всё ещё зелен
собака даже ухом не повела собака
разбить бы сейчас какую-нибудь голубую чашку
залезть бы на крышу
смотреть бы на медно темнеющие курганы другого берега
но всё разбито мой мальчик давно-давно

Станислав Львовский

39, 41

СОВЕТСКИЕ ЗАСТОЛЬНЫЕ ПЕСНИ

✚

товарищ, не в правде.
как кочегар кочегару

тебе говорю:

стоим на краю огня.

вон они,
ухая,
волокут колосник.

заблестят воды
как зеркало.

даже след пропадёт,
товарищ.

✚

прощай, родимый.

очень хочется жить,
но ничего уже
не помещается
в пейзаж.

телеграмма летит.
орудует салют.
раскаляется башня.

военные, родители,
женихи

входят толпой
подобно Арею.

расточаются, исчезают
теряют форму.

✚

плещут
холодные волны.

сами зарезали
корейца.
сами убили
китайца.

оскопили дагестанца.
забили якута.
сбросили на рельсы
таджика.

чайки несутся
в Россию.

чайки, родимые,
не сдались,
соратник.

бьются, мёртвые,
о берег морской
за русскую честь.

кричи, соратник,
тоскуй.

знаю,
как тебе больно,
как страшно.

✚

чего мы, сын,
не видали
в этой Турции.

тем более,
Африка.
одна нищета.

сжимай, сын,
игрушечную
винтовку.

выполни волю
её
земляную.

нащо тоби
солнце
не наше?

падай в траву,
да стреляй.

вот она, сын,
кохана, обильна:
твоя сторона
родная.

столица её везде,
граница нигде.

ключ от неё
переломлен.
пресуществлён.

✚

наверх, товарищ,
наверх.

парад
последнего года.

море кипит, река
кипит.
но мы уже далеко.
наверху.

последний парад.

вот и наши тоже
лица на фотографиях
пожелтели.

камни молчат.

высоко над ними,
где зловеще
сверкает солнце,

мы сидим
на небесной отмели.
время от времени

поднимаем
искорёженные
куски металла.

бросаем их
в реку.

медленно, лениво
белые расходятся,
золотые круги
мёда и молока.

мы уже наверху.
наши места
заняты

нами же.

‡

страшно мне, друг,
и тебе
страшно.

ничего не можем
забыть.
всё забыли.

это нам не спели
вечную память.

не про нас
ветер на сопках
каждую ночь
слоняется
и рыдает.

что кружилось —
истлело.

нет больше
КВЖД.
мы теперь
бестелесны.

страшно мне что-то,
друг.
собираются пластмассовые
детальки.

круж^ат^я.

готовятся
отомстить.

✚

материк, брат,
прощай
навсегда.

тут вода
хрипит, потому
что она, брат,
рассыпается
мерзлотой.

чуни
разваливаются.
гаснет костёр.

тут так холодно,
что огонь
не горит.
индевет уголь.

сам собой
пароход
по водам.

как кочегар
кочегару
скажу тебе, брат:
обнимемся же
напоследок.

зубы скалят,
воют олени
на вечерние огни
Магадана.

пятьсот километров, брат.
не читай моих писем,
не жди меня,

не узнавай,

если я.

✚

то ли холодно,
что темно.
то ли темно,
что холодно.

зольдатен,
матросен, ау,
битте ком.

папа
погиб.
застрелили
маму.

одни папиросы
остались.

ничего не вижу
семнадцать лет уже.
вообще ничего.

стою на краю огня,
а согреться-то не могу:
потерял ботинки.

не верю пехоте.
ни единому слову.
и матросы
неправду.

те и другие
окружают.
подходят
всё ближе

стою
посреди поля.
зажимаю руками

дыру в животе.

лезут из неё
тараканы,
койчен шестиногие
папиросен, —

торгуются
со служивыми.
продаются
за деньги.

холодно, говорю,
темно.

а я босиком.

‡

розы распустились уже,
товарищ.

черешня белее снега.

напиши мне, товарищ,
о том, как.

муза, скажи мне о том
многоопытном.

разве забуду я песни
твои, сотни тысяч,
песен твоих, разве я.

сотни тысяч шумящих,
безлиственных, теплокровных,
сумасшедшими съеденных
неопалимых коровок
Гелиоса Гиперионида.

и миндальное, золотое.
разве забуду?

как у края огня
мы стояли,
весеннего края
огня и ягнят,
и коровок.

где пылали кусты,
распускалися розы.

товарищ, товарищ!
смотри,
как черешни
белеют,
пасутся коровки.

обещаю,
мы увидимся снова.
всё возобновится,
товарищ.

обещаю.

всё
отзовётся.

39, 41

+

ей тридцать девять.
ему сорок один.
взрослые дети.
по два (ну, два
с половиной)
неудачных брака
в анамнезе.

они сидят
у семейного
терапевта.

он плачет.
терапевт,
как это бывает,
бабачит
и тычет.
она думает,
что прямо
сейчас вот
встанет
и что-нибудь тут
расхерачит.

но сидит,
молчит,
слушает.

а он хнычет.

про то, как ему,
мальчишке,
снилась ночами
игра на Сомме.
как под рёв
трибун
выходил
к Бранденбургским.
как он вынес всех
в Будапеште
и после,

в Праге.
как он прѣбил
пенальти
под Джелалабадом.

а потом эта ёбаная
блядская травма.

и больше он
ничего не может.
и никого не может.
и её не может.
но любит.

а она думает,
что, кажется,
хватит.
что это она
терапевту
платит.

лучше, говорит,
расскажи,
про норильск
и потьму.
про инту
и белое море.
про тайшет,
про свободный.
и про комсомольск
на амуре.

тут он вдруг
прекращает.
тут он на неё
смотрит.
ты, говорит,
чего-то
не понимаешь.
мы в таких городах
не играли.
ни единого
выездного матча.
там вообще
не было стадионов.

туда и мячей-то
не завозили.
городов-то таких
нет на карте.

это всё бабская
твоя глупость.

так он говорит.
терапевт
в записи пальцем
тычет, бу-бу,
бабачит.

а она плачет.
сидит
и плачет.

никак не поймёт
что значит.

‡

война закончилась, не начавшись.
яблоки сорок первого, тридцать
девятого собрались, как положено,
улеглись в погреба, стали сидром
самогоном, кальвадосом и шнапсом.
польские пани, русские бабы
немецкие фрау, британские
миссус нарожали детей. и войны
не случилось ни в сорок первом,
ни в сорок втором, ни потом. а длилось
себе и длилось мирное время, всё меньше
новых офицеров принимали на службу
взамен пожилых уже, седобородых,
смешливых, сотнями уходивших
на пенсию, чтобы жить в белых
домиках на итальянских, турецких,
на греческих островах, забирать
внуков к себе на лето, в деревню
(кипр, ибица, черногория).
чтобы собирать яблоки, гнать
из них самогонку и кальвадос,
делать сидр и апфелькорн,

угощать друг друга по вечерам,
подливая из пузатых зелёных бутылок
небывалые яблочные напитки
урожая тридцать девятого года,
урожая сорок первого года.
пробуя, соглашаться друг с другом,
что, мол, не было ни до, и ни после
на их памяти таких урожаев.

не бывало яблок
таких огромных,
таких вкусных,
алых, живых.
таких человеческих,
почти говорящих.

таких смертных,
живых
горячих.

✚

нам огонь без дна и поверхности он говорит без дна
девочка лет восьми смотрит как свивается змей
как между колец его истекает песок льётся елей.

чёрной ряженкой прадедов истекает висок
пока он лежит подо ржевом и над ним стоит
тишина.

дожили пацаны весна — говорит старшина
пасётся на тучных пажитях обморочная высота
получеловеческая орда плывёт и плавится как руда.
девочка лет восьми слушает как дудит дуда

греется как горит речная вода
летит как летучая редееет гряда.

петуха даёт но поёт надтреснутая посуда
никуда вам поёт не сбежать не уйти отсюда:
вот она дожили ребята весна
и огонь
без дна.

я убит лежу подо ржевом
и рядом лежит она

пухнут детские губы её
кровью и молоком
наливаются ложесна.

матка её сжимается в точку.
над нами становится лето.
потом весна.
тридцать девятого
сорок первого.

тишина над нами
встаёт и стоит

тишина.

Кирилл Корчагин

КРИК ФИЛОМЕЛЫ

(LE SIÈCLE PASTORAL)

коридон в полутьме посреди городского пейзажа
и прочая нечисть в одеяньях сатиров и фавнов
звуки лиры, трубы и гудка
чад от факелов освещающих мостовую
алексис подхвачен толпой

профессор элоквенции через силу
поёт шутейную эпиталаму
скрывая кровоподтёки под гримом
а празднество влечёт алексиса вдаль
сквозь мрачное веселье
пока он не падает на брусчатку
задыхаясь от морозного смрада
почти про себя повторяя *коридон*

коридон

аполлинствование карнавала
сливается в монотонный гул
ветер с реки душит
невольные слёзы

душе его воспаряющей над площадью станет заметно
как сверкают в отсветах факелов
стены ледяного дома
как вздрагивают новобрачные в покоях
где нет ничего кроме любви

✚ ✚ ✚

если говорить
об исследователях

то один напишет: быть может потому
головами пленных играют в футбол
чтобы превентивно напугать тех
кто может травмировать робкую душу
защитников пастбищ и гор

из лучших побуждений

о согражданах:
как развернётся их мысль
если те, что вышли за покупками
не вернуться —
не иначе как добрые люди
хранят телезрителей
от деморализующих потрясений

и черноокие девы
воспетые русской литературой
увидят на месте разрушенных сёл
зазеленевших руин
бульвары кофеен и точек продаж
металлический блеск Просвещения

‡ ‡ ‡

что прервёт твоё молчание
когда морозный туман расплзается клубами
вдоль строящейся железной дороги,
разрывая лёгкие гастарбайтеров?

они вернуться
в свои деревни
и вся нечисть
взовьётся вихрем
чтобы задержать их
вдали от покинутых домов и разорённых пределов

внутренности твоей земли
всегда гостеприимны,
они исчезают в них,
оставляя документы
своим работодателям
а души, —

но они не имеют души

и всё же в ночи они слышат твой голос,
когда ты льдом ложишься на сердце,
держишь за горло,
напоминая
о бесконечном спасении

под нашими сапогами

✦ ✦ ✦

крик филомелы разорвётся над тобой в воздухе
опустошённой аллеи
в час утренней зари
когда просыпаются клерки
и первые выхлопы возносятся в атмосферу

утомление, усталость —
отрешись от них
смотри как лежат вокруг
листья нашей родины
заточённые в чёрных мешках
каково им гнить в обществе себе подобных
смешанным с пеплом и прахом

посмотри на её лицо
в разбитом смартфоне —
писатели нашей родины
заберут с собой
её голубые глаза
и зелёные волосы
её мёртвых кукол
а тебя оставят здесь
чтобы отрешившись от земного
гулять по парку, радоваться вспышкам
электрических разрядов
скользящих по шерсти набухших верб

ведь всё что ты можешь
это сидеть на кафельном полу
при открытой воде в ванной
что-то шептать про себя
пока рассчитанными движениями
они несут её тело
вниз, на первый этаж

Игорь Лёвшин

ТРИ ИДИОТА

4 НОЯБРЯ 2008

Багрец и Золото
в чёрных полиэтиленовых мешках
ждут у края тротуара
— Стемнело, кажется, — говорит Багрец.
— Ноябрь. Дни короткие, — соглашается Золото.

Этим летом рухнула виртуальная экономика.
Субпрайм моргидж, упав,
Завалил всё ажурное здание, возводившееся десятилетиями.
Суконное рыло реальности
просунулось в калашный ряд: «Я знало! Я знало!»

Едва ли.

Сегодня, между прочим, праздник.
Веселится и ликует
одинокий пенсионер,
он пропустил с утра соточку, потом ещё и ещё.
Муть ноябрьского неба (первые числа)
непроницаема.
Равнодушная природа (грязноватые фасады офисных зданий)
внемлет потаённой беседе:
— Как-то так всё быстро, — сокрушается Багрец.
— Да, — соглашается Золото.

✚ ✚ ✚

мне видятся трое
слева бивис
батхед справа
головастые шелудивые

в центре стройный
князь мышкин
три идиота

они очень разные
бивис всегда в профиль
князь выше их на голову
черты лица его смутны
по сути у него нет лица
дух
идеи
батхед с плохими зубами
посмеивается
э-э э-э и растворяется
растворяются все трое
теряют очертания — те что были —
отступают в пыль и туман
действительность смыкается

пыль и туман метель
в самом деле похоже на метель
но это колёса машин взметают
перемолотую водяную пыль
(идёт дождь) а боковой ветер
рвёт в клочья швыряет облачка
водяного тумана в лучи фар и фонарей
(это МКАД 12 часов ночи север)
и на мерный гул мотора наслаивается
зудящий звук более высокого тона
когда колесо попадает в колею в асфальте
неглубокую залитую водой но хорошо
различимую в свете фар несмотря на дождь
который идёт и идёт и пусть идёт

я люблю ездить в дождь в снег
потому что в водителей вновь вселяется разум
и сумасшедшие внедорожники не выскакивают из-за плеча
молнией блеснув в зеркалах теряясь впереди
в подвижном шахматном строе автомобильных тел
во всяком случае это происходит реже

это ещё ленинградка ещё далеко

я люблю ездить ночью
потому что иногда удаётся сосредоточиться на дороге
а это не лишнее
да и горящие фары
в зеркалах и стоп-сигналы заметней не пропустишь

даже если задумаешься
а я задумчив сейчас и даже может быть
впадаю в какую-то сладкую дремоту
чего бы не хотелось
вот уж совсем не хотелось бы

но скорее это мечты
три идиота
бивис батхед
князь
я почти вижу их там
за лобовым стеклом но перед туманом
водяной метелью клубами взвеси
всё же стоит остановиться

безлюдная заправка где-то не доезжая ярославки
я тру усталые глаза (6 часов за рулём)
беру пистолет отвинчиваю крышку бака
моё прекрасное видение
три идиота
лохматые непутёвые отроки
изысканный добрейший князь
он в центре они ошую одесную
плачут хохочут приплясывая
бивис шепчет лёве на ухо
тот согласно кивает
пора
трое теряют резкость
растворяются дождь всё идёт
действительность смыкается
поворотник-метроном я выворачиваю шею влево
не доверяя залитому влагой зеркалу
мы продолжаем

✦ ✦ ✦

Утром было нелегко
Вечер неслышно подошёл
Мы стояли смотрели на небо
Кто-то запускал ракеты
Было сухо но вчера был дождь
Я смотрел на новый чёрный Рено
С капота через крышу на багажник
пятнышками грязи тянулись следы кота
мы смеялись и я жалел
что в моём мобильнике нет камеры.
В мае мы переехали.

Максим Бородин

СВЕТ НАД РАБОЧИМ МЕСТОМ

ОПИУМ

с востока приносят на белых подушках перьевых туч
колокольчики
звонкие и тихие
лёгкие и очень лёгкие
никто не знает
из какого они сделаны материала
из золота
из воздуха
из снежинок
или
из слёз ангелов

свой день рождения
я начинаю праздновать ночью
выхожу на улицу
едва освещённую слепыми фонарями
беру большую деревянную лопату
и начинаю убирать снег
вокруг дома
по периметру
в глубину двора и к железным воротам

моя
жизнь
нарастает
словно снежный ком
из него торчат антенны
кирпичные трубы
и
пустые олени упряжки
можно разглядеть даже мамонта

его бивень
направлен
в сторону Северного полюса
и ближайшего магазина

когда снег убран
я возвращаюсь в дом
пью крепкий сладкий чёрный чай
беру книгу
с картинками
что-то типа Бёрдслея или Хокусая
и сажусь в кресло
ожидая
пока рассвет заползёт
в мою комнату
лёгким головокружением от уже оконченных дел

всё
что нам преподносится в виде давно прошедшего
никогда не существовало
жизнь
начинается сегодня
наш возраст
один день
один час
одна минута
одна секунда
всё остальное пиар-кампания
крупных
производителей алкогольных напитков

когда гаснут уличные фонари
и солнце начинает
ходить по комнатам
громко топоча резиновыми сапогами
я одеваюсь
и иду на работу
ведь
даже в день моего рождения
от меня требуется
присутствие в далёком
словно шахты Земли Франца Иосифа
офисе

он
светлый и большой

тёплый и современный
но всё равно я беру по дороге две бутылки вина
экзотических фруктов
и тонкий
словно компьютерный диск лаваш
мы сидим в потайной комнате
пока начальство
вершит наши судьбы
на шахматной доске штатного расписания

мы слушаем
Gogol Bordello
мечтая
уехать отсюда подальше
не зависеть от работодателей и социальных программ
петь песни и пить виски
не из стаканов
а прямо из бочек
пахнущих дубовым лесом
и цветочными горшками

когда нас
находит
коммерческий директор
мы похожи
на самиздат середины 80-х
что-то типа брошюры о буддизме
или сборника стихов
Яна Сатуновского
отпечатанного
на машинке
«Ятрань»
с запавшей клавишей
«Л»

коммерческий директор
человек с опытом
он знает
что делать в таком случае
полчаса на уборку
приведение в порядок лиц
и к вечеру
все ресурсные ведомости по проекту
к нему в кабинет
на подпись

воздух полон
оконных стёкол и лестниц
ты зависаешь между этажами
смотришь в одну точку на белой
словно хороший качественный ватман
стене
и молчишь
что-то произошло
в этом мире
пока мы
сидели в потайной комнате

свет над рабочим местом стал невесомым
его вес можно измерять губами
и взмахами ресниц
один взмах
два взмаха
не более
время исчезло
остались только
пустые компьютерные программы
технико-экономическое обоснование
инвестиций
и хрупкая тишина

а ведь надо ещё ответить на электронную почту
там
наверное
полно писем
со всего мира
не считая спама и переписки
с поставщиками материалов
меня поздравляют с днём рождения
святые всемирной сети
апостолы региональных сект
ангелы одиночки
шизофреники и просто идиоты

я завидую им
они живут полноценной жизнью
не растрчивая своё время
на получение зарплаты и премии
они могут
посещать Нью-Йорк и Медину
Рим и Иокогаму

не оглядываясь назад
не обращая внимания на рыночную конъюнктуру
не засыпая по расписанию
их жизнь
импровизация
Бога-анархиста

они живут сегодняшним днём
прошлое это проданный Карамзин
будущее
подаренный Брэдбери
всё остальное
холодные реки
ламаистские храмы
горы и степи
пахнут любовью
молоком с диким мёдом
и
дымом

конечно же
мы не успеваем сдать вовремя
всё то
что
должны были сделать к концу рабочего дня
но нам опять везёт
коммерческий директор
отправляется на деловой ужин
с подрядчиками
а мы незаметно испаряемся
отправляясь по домам
зачем откладывать на завтра то
что можно сделать
послезавтра

поздно вечером ко мне домой приходят
два поэта
мы долго
обсуждаем будущую презентацию
литературного альманаха
пьём виски
закусываем докторской колбасой
с чёрным хлебом
поём «Мурку»
ругаем местных олигархов

и
играемся с котом
редкой дворовой породы

ангелы
суть
правильные мысли
они сидят в голове словно в большом доме
и смотрят на улицу
в металлопластиковые окна
навязанного нам мировоззрения
мы послушные дети
великих отцов
завтра нам опять надо родиться заново
получать чистые документы
гладить костюмы и чистить ботинки
искать ключи от машины
учить новые слова
привыкать
быть

или не быть

СУДЬБА

у неё маленькая грудь
может
потому что она любит Будду
или может потому что
родилась в Японии
а живёт
в этом убитом всеми ветрами посёлке
с наивным названием Пески
работает журналисткой в фабричной газете
и пишет иероглифы
на белых стенах
нашего
дома

её живот можно
сравнить
с чистым листом белой рисовой бумаги
завезённой к нам

старым прожжённым
словно гималайский сахар
политтехнологом
я всегда мечтал о восточных женщинах
когда служил
в погранвойсках на Фолклендских островах
когда строил братские ГРЭС
в Северной Ирландии
когда дрался с художниками-ревизионистами
в трущобах Лос-Анджелеса

японские женщины
перестают плакать после второй рюмки
после третьей
они
начинают понимать наши мысли
а к утру привязывают так
что все моральные обязательства
перед партией и правительством
отходят
в море
кораблями Седьмого флота США
со всеми
радистами
артиллеристами
и сигнальщиками

мы познакомились в Сайгоне
на концерте
Боба Дилана
и Янки Дягилевой
она стояла в стороне
от шатающейся
подобно траве толпы
её глаза были широко открыты
как будто
она хотела
казаться наивной белой девушкой
из рабочего предместья
Харькова

её маленькая грудь поднималась
и опускалась
в такт песням
её сердце заводилось с полуоборота

а губы
сухие от страха
пробовали на вкус
незнакомые ещё слова
я подошёл
и спросил
«ты меня любишь»
и она ответила
«да»

что нужно
простому советскому парню
только что закончившему институт
мечтающему о независимости
страны Басков

и
жизни героев Стругацких
только любовь
такой девушки
только тело такой девушки
только такой голос
где-то у самого сердца
она была мне
почти
по плечо

сначала мы разговаривали
одними
нечленораздельными
Боже
как хорошо сказано
нечленораздельными
звуками
и поцелуями
после мы создали свой язык
что-то среднее
между Йогой флюорографией и молитвой
другими словами
мы понимали друг друга
с одного выдоха

её тело
представляло собой остров
оторванный от материка
при испытании нового оружия

«над Испанией безоблачное небо»
«восхождение на гору Фудзи началось»
море в районе атолла Бикини
было душным и горячим
наши счётчики Гейгера
сошли с ума
а мы светились от счастья
и трещали
без умолку
каждый на своём языке

первый год
мы вообще не вылезали из постели
спали ели пили любили пели летали
наш сосед
Саша Эванс Санта Мария Иванов
главный инженер паровозного депо
внебрачный сын японского императора
от джазовой певицы Нины Симон
называл её
Сайюри
что означает
водяная лилия
лежащая на ладонях у Бога
он приносил нам хлеб и молоко
фрукты и коньяк
книги
и виниловые диски

но когда он уехал на Тибет
на встречу
с Далай Ламой
чтобы обговорить проблемы влияния наивности
на следующие перерождения
нам пришлось
приспосабливаться к жизни
мы нашли работу далеко от дома
научились смотреть мимо глаз начальства
пользоваться кредитными карточками
ездить в отпуск
в Крым и Турцию
загорать
пить пиво
и есть шашлыки

жизнь
удивительная вещь
её можно не замечать
но когда она приходит к тебе в гости
то оттесняет в дальние углы
маленькой квартиры
любовь
к женщине
и ты вынужден бороться за существование
с призраками
Газпрома
Минатома
и
жилищной комиссии горисполкома

Будда
верил
что человек может изменить себя сам
без помощи
рекламных акций и сезонных скидок
наше тело мера души
и от нас зависит
что мы скажем при выходе из этого мира в тот
что мы предъявим
облакам и вершинам гор
в качестве доказательства
нашего бесцельного
по мнению многих существования

она
любила заниматься этим в самых неожиданных местах
на работе на улице в магазине в кинотеатре в банке на собраниях
глубокий выдох
потом глубокий вдох
и
ты
уходишь
из этого мира
на кончиках пальцев
тихо и мягко
всё вдруг становится ясным и сладким
тебя окружают деревья и цветы
птицы и добрые звери с большими ушами

тени случайных событий
ложатся на белую бумагу

узорами
из которых складывается жизнь
мы внебрачные дети своих поступков
наша любовь
ошибка
на письменном экзамене по безопасности жизнедеятельности
мы ставим мягкие знаки
в каждом слове
сказанном друг другу
забывая всё
чему нас учили наши учителя
на уроках ботаники и географии

судьба
японская игрушка
робот
начинённый современной электроникой
и многочисленными функциями
я люблю твой удивительный акцент
твой зелёный чай с жасмином
твоё тонкое кимоно
расшитое птицами и цветами
люблю
когда ты
мирно засыпаешь на моём плече
после трудного рабочего дня
просто зная
что наутро тебя ждёт новый день
и я

бумажный кораблик
с разноцветными иллюминаторами и фиолетовыми парусами
сделанный кем-то
из газетного листа
с такими же
как всегда
тупыми и крикливыми заголовками
за какое-то там число
какого-то месяца
ещё не наступившего года
и непонятым пока словом
написанным
простым карандашом на ещё не пожелтевших полях
«судьба»

и электронный адрес

ПЕСНЯ

«Згва мицамлули...»

с утра праздник
все гуляют
и поют
где-то в небе ангелы
что случилось
что случилось
говорят
а давайте спустимся
спустились
угощайтесь говорят угощайтесь
слава богу
есть вино
есть хлеб
ангелы говорят
а к чему праздник
к чему шумит бесконечный ковёр города
к чему узоры
яркие
и
громкие
а у нас
говорим
горе
горе говорим у нас
бог умер
заберите его на небо
не место ему
на
земле

«Цминдао гмерто...»

ангелы закричали громко
и заплакали громко
говорят
воздух сладкий как мандарин
как мандарин сладкий
лёгкий
что земля будет делать
без бога
а мы говорим

говорим смеясь
будем пить вино
будем петь
песни
смелые люди
говорят ангелы
река быстро течёт
быстро
река
течёт

«Ангелози гагадебс...»

я отошёл в сторону
спрятался
от ангелов
от ангелов спрятался далеко далеко
камень выпустил из ладони
он застучал вниз
тук
тук
тук
губы твои вспомнил
солёные
и податливые
и когда камень упал на дно реки
запели
птицы
что мы будем делать без бога
ангелы
говорят
говорят ангелы

Сергей Тимофеев**ДНИ АНГЕЛОВ****СЕВЕР**

Сижу и спокойно ем водку
В одном заведении на севере города.
У меня полный карман зажигалок,
Могу, что хочу, поджечь или погреть руку.
Вот и ты садись, красивое бледное племя,
Располагайся на тёплом пяточке судьбы.
Никаких звонков в другие мобильные сети —
Это единственное правило нашей среды.
И она села, и всю дорогу молчала,
Всю дорогу от шести вечера к одиннадцати.
А потом я встал и поблагодарил за вечер —
За время, пространство, движение.

НА ДИСКОТЕКЕ

Мы достаточно делали время на дискотеке
Ты худой и я худой и оба ещё худее
Пласты значит кидали об нас
Два польских ди-джея
И я тут вышел на середину и врубили такой свет
Что все мои кузнечики чокнулись
И я им говорю: «Кто вас позвал? Кто вас позвал?»
А они удовлетворённо
И тогда говорю мы уж братишка достаточно
Тут делали время
Спичкой не погасить
А он портрет повернул
И смотрит длинно
Много знает, всего видел

ЧЁРНОЕ ВАРЕНЬЕ

Ветер спит. Ночь нежна.
Человек устал и хочет ссоры.
Он спешит. Он встаёт.
Он подходит к чёрному варенью.
Зачерпнёт, подождёт,
А потом обратно скинет в банку.
Он устал, стал умней,
Плачет, плачет, тихо-тихо плачет.
Знаешь всё, знаешь всех,
Так чего ты, сердце, ещё хочешь?
Зачерпни мне со дна
Чёрного варенья.

БЫТЬ ГОЛОВОЙ

Он хотел быть лишь головой
И ветер вентиляционных шахт
Качал все лампочки его надежд
Из стороны в сторону
Я ошибаюсь, он говорил, я очень
Ошибаюсь на холодному полу,
Работая всем телом, напяливая
И накачивая до упора
И всё время при этом он хотел
Быть лишь головой, лишь мозгом
В оболочке лампочки стероидной
Лампы накалывания
Он таскал за собой, он резался
Он шёпотом подсаживал за соседний
И никто не мог обернуть его в достаточную
Простыню или другое положение
А ведь он хотел лишь быть
Головой, точкой, а не всей этой вот
Праздношатающейся конструкцией
Дыма другого года

✦ ✦ ✦

Кто ты, желанный объект
Или невостребованный субъект?
Успешный проект
Или инициатива с мест?

Поле заранее просчитанных эффектов?
Область с меняющимся качественным спектром?
График заполнения пустых клеток?
Аналитик лета и рассеянного света?
Кто бы ты ни был, заходи слева,
Бери в руки мел, кроши им об доску,
Объясни нам всем, почему Ева
Не носила блузок в голубую полоску.

УЖЕ

Прямые мы животные,
Прямоходящие мы,
Упрямые мы животные,
Ходим и спрашиваем: Пицца? Пицца?
А осень ломает лимоны
И крошит хорошее время,
И мы ветерки, ветерки,
Стоим в своих бедных ветровках,
Спортсмены худящей любви,
И новая, новая музыка лишает нас
Всякого, всякого веса,
И мы поднимаемся, зайцы, зайцы,
Надувные, красные зайцы,
Уже другого типа животные, уже.

ДНИ АНГЕЛОВ

Ангелы — это очень медленные пацаны,
Которые курят в кулаки какие-то
Шоколадные сигареты.
Они переливают из пустого в порожнее
Там, на небесах.
Облака пахнут ванилью,
Всё так чисто, безопасно, ухоженно,
Как завтрак в самолёте,
Стоящем в аэропорту
На вечной стоянке.
Иногда они смотрят старые боевики
И думают, что и они могли бы...
Потом идут куда-то вместе
Немного понуро.
Приходят — а это сад,
Идут под яблони, подбирают

Плоды с древа познания добра
И зла. Кусают. Жуют. Для них
Они безвредны, как и всё остальное.
Проходит день, наступает следующий.
И они снова смотрят боевики по телику
Величиной с небо.

МУЖЧИНА С ЖЕНЩИНОЙ

Романтика! Романтика! Вбежали они на пароход,
А пароход дал гудок и превратился в поезд, они хватъ
За стоп-кран, а это пробка от шампанского, пузырьки
По руке, словно под водой плывут, и тут приходит
Главный капитан и говорит: «Я изучил седые скалы
Надреснутых хрущёвок...» Наверное, патефон проглотил,
Вот и рокочет теперь, бормочет. Ну, недолго они там были,
Побежали целоваться, бегут целуются, удивительные глаза
У них. Романтика! Романтика! Прибегают в огромный город,
Стоит дом, а под ним канава, а в канаве работает такое радио,
И по радио говорят: «Мы перекрыли все каналы связи, мы
Обложили дёгтем магистрали и по канализации пустили
Золотые реки!» Ну, дела. Бросили они в канаву пятьсот спичек
И побежали дальше. А им навстречу птицы низким полётом,
Виноградник на ходу въёт вокруг них вензеля, мир густым басом
Поёт, мычит. Роскошно движется земля, лижет их ветер,
Как лондонский котёнок. Да, нашли они потом огниво,
И неохватный клад с большой орешек, и постелили себе
Каштановое дерево, и спать легли, устали от любви,
Мужчина с женщиной, рижанин и москвичка.

† † †

Искусство французского кино
Подразумевает автомобиль, разговор на солнце,
Сломанную, как печенье, судьбу,
Встречу мужчины с не его женщиной,
А потом с женщиной, которая курит натоцак.
Должно быть ещё много моментов,
От которых таблетка против головной боли
Может раствориться прямо в воздухе.
А в финале, когда у всех появляется какой-то шанс,
Посылают мальчика за вином, а он всё
Тратит на конфетти.

П Е Р Е В Е С Т И Д Ы Х А Н И Е

Проза на грани стиха

Владимир Рафеенко

Из романа
НЕВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

ЛОШАДИНАЯ ГОЛОВА

Моя бабушка, Марфа Александровна, рассказывала нам, своим внукам, такие сказки, которых потом я никогда и нигде не слышал и не читал. В её сказках действовали персонажи, которые запоминались навсегда. Сюжеты сказок были просты, конкретны и ужасающи.

Наслушавшись этих сказок, мы шли в жизнь на Холмы.

Там было ветрено, пустынно, бежали низкие облака. Попадая в любую ложбину между Холмов, ты каждый раз попадал в иной мир с незнакомым ручьём и с травой, с новыми запахами и неизведанной никогда ранее землёй, со своими животными и птицами. Выходя на вершину любого из Холмов, ты каждый раз вокруг обозревал иную вселенную, ибо они менялись вокруг тебя не от понедельника к понедельнику, но просто от спуска к подъёму. Иногда вселенные повторялись, иногда нет. Мы шли по Холмам, и бабушкины сказки становились нашей жизнью, и неразрывны с нею по сей день.

Катилась по дороге Лошадиная Голова. Ушами по земле хлопала. И прикатилась она к избе номер восемь по проспекту композитора Огинского, к девочке Маше, которая на ту беду оказалась дома. Тук, тук — постучалась лошадиная голова в окна к Маше.

— Кто там?

— Открывай, Машутка, — сказала голова, — накорми меня борщом и мясом, а я за это службу тебе сослужу.

— Я не открываю дверь незнакомым головам, — отвечает Маша, а сама дрожит, как осиновый лист.

— Открывай, сучка, — закричала голова лошади, — это я, твоя учительница физики! Я пришла к тебе в дом поговорить о твоей успеваемости! Дай мне сюда твою мать и твоего отца! Я им всё расскажу о тебе, я им открою глаза на педагогику средних классов.

— Моя мама ушла на кладбище бабушку поведать, а папа к двери подходит только с топором, потому что пьёт всю неделю. Но если ты хочешь, голова, я могу его разбудить и позвать сюда к двери. Но боюсь, что тогда тебе не придётся больше катиться от домика к домику и хлопать ушами по пыльной поселковой дороге, не придётся также носить синие махровые юбки и жакетки с огромными синими якорьками на плоском животе, чёрные массивные туфли, мохнатые усы, огромные брови, глаза иезуита-извращенца и бо-

родишку на манер шевалье Арамиса. Да, голова, боюсь, что тебе не придётся уже всего этого делать, потому что топор отца моего быстр, как мысль, отточенная бритвой Оккама.

— О чём ты, девочка? Я не голова, тем более не лошадиная, я твоя учительница Татьяна Гавриловна, тук-тук, девочка, открой своей Татьяне, без сомнения, Гавриловне. Мы повторим с тобой десятичные брови, побреем бороду, опохмелим Оккама. А что, кстати, делает на кладбище твоя бабушка?

— Моя бабушка? Моя бабушка там спит, чтобы стать через сто лет бабочкой. Чёрной бабочкой украинских степей. *Бабочкой наказания и бабочкой поощрения*. Такой бабочкой, которая и не снилась сотрудникам *Smithsonian Tropical Research Institute*.

— Странные у тебя какие-то родственники, — говорит голова, — согласишься, девочка.

— Ну почему же. Нормальные. Так папу позвать?

— Нет, нет, пожалуй, пойду я тогда, Машенька, вероятно.

— Идите, Татьяна, тем более Гавриловна, идите. Только не наткнитесь на молочницу, что на пустыре молоком торгует. Идите вдоль дороги к троллейбусной остановке и не оглядывайтесь.

На молочницу действительно лучше было не наткнуться никому. Хотя, пожалуй, это было и невозможно.

На Четверговом пустыре и в самом деле стояла жёлтая проржавевшая до дна бочка, — бочка с еле видимыми буквами на боку: «Молоко». С краником в торце, со специальным люком сверху для наливания молока или чего угодно, а также для запихивания внутрь запоздалых уставших ночных прохожих, для закидывания внутрь маленьких беспомощных кошечек и собачек, мальчиков и девочек, для наливания в неё горячей смолы и пластмассы, фосфора, серы, извести, для прочих разнообразных детских и взрослых игр. Возле бочки, особенно в непогоду, в гром, молнию, в дождь тихий и дождь ужасающе громкий, в град и тяжёлый мохнатый снег появлялась никому не ведомая молочница. Была она в тулупчике, в жёлтой грязной юбке, в кулачке замусоленный советский рубль и мелочёвка какая-то. И если ты подходил близко к ней, она открывала свой ужасающий краник и молоко, несуществующее пенное молоко, растворяющее твоё хрупкое «я», начало литься оттуда белёсой рекой, смешиваясь с грязью и с травой, с лужами и деревьями, с бархатной окаёмкой твоих снов и туманных детских провалов, с поллюциями и галлюцинациями, с полынью и полыньёй, с коньками и сыром, с Амстердамом и песней о вещем Олеге, а также с шумом ноября за окнами спальни, когда стучит и стучит, а постель такая тёплая, и ужас там, внутри осени, всё-таки не может пробраться сюда в комнату, но сон, твой сон всё-таки не будет полным, если где-нибудь там тебе не приснится Четверговый пустырь...

Так хорошо, когда идёт дождь.

ДЕФЕКТ МАСС

Дефектом масс в физике элементарных частиц называется разность между массой покоя ядра изотопа и суммой масс покоя составляющих его нуклонов.

Обозначается вся эта петрушка как Δm , где Δ — это Детство, а m , соответственно, — метогу, то есть, память. Что ещё?

Эйнштейн считал, что дефект масс и энергия связи нуклонов идентичны, поэтому у нас есть ещё такая немудрящая формула — $\Delta E = \Delta mc^2$, где c , ядрёна вошь, не что иное, как скорость света в вакууме.

А что такое вакуум — не знает никто.

Поль Дирак называл его кипящим. И это мне, пожалуй, нравится. Вакуум, кипящий, как мозг. Как бронепоезд или крейсер. Стригущий, Блестящий, Летящий.

Нас было три друга. Как у Дюма. «Четыре, — скажет читатель, — там был ещё Д'Артаньян», — и я соглашусь. Но в том-то и дело, что физически нас было три, а по сути четыре.

Д'Артаньяном был по очереди каждый из нас, одновременно продолжая пребывать и кем-нибудь другим из мушкетёров. Ну, допустим, я Портос. Но сегодня моя очередь быть Д'Артаньяном. Я был Портосом, который иногда что-нибудь говорил или делал в качестве Д'Артаньяна, а потом снова быстро становился Портосом и игра шла дальше.

Более того, когда мы были вместе, каждый из нас был, прежде всего, кем-то одним, ну Портосом, пускай. А вот когда мы прощались вечером под крики: «Саша, домой! Вася, домой!» — под звёздной россыпью, продрогшие и счастливые, и шли действительно домой, то каждый из нас, безусловно, шёл домой в той же самой степени Д'Артаньяном, как и тем другим мушкетёром, которым он был весь день по преимуществу.

Я понимаю, что на словах всё это выглядит мудрёно. Но, поверьте, на деле всё было очень просто. Когда мы играли днём, то нас было три мушкетёра, с гасконцем — четыре, а когда расставались и шли домой, нас было шесть. Атос, Портос, Арамис и ровно три Д'Артаньяна.

И утром, ранним утром в субботу, когда не надо было идти в школу и мы шли встречаться друг с другом, нас было шестеро. Но стоило только нам встретиться, как нас тут же становилось три и один. Если же случилось, что тот, кому надо быть Д. Артаньяном, заболел, то опять же мы лишались не одного, а сразу двоих.

Потом, когда игры наши закончились совсем, нас по отдельности уже никогда не было просто три мальчика. Всегда потом было больше или меньше.

Сначала женился Арамис, потом умер Портос, потом у Д'Артаньяна родился сын.

Я приехал как-то на посёлок. Шёл дождь. Улицы наши изменились мало. Посёлок — существо консервативное. Даже если появляется новый дом, исчезает старый магазин или внезапно асфальтируют какую-нибудь дорогу, то это ничего уже не меняет.

Я шёл под дождиком, глазел в тёмные окна домов, прислушивался к запахам оживающей после зимы сирени и черёмухи, радовался птицам, которые пели, несмотря на дождь, и думал: в том, что есть, уже ничего изменить нельзя, сколько ни отнимай, сколько ни достаивай...

ТАНГО С МЕДВЕДЕМ

У каждого в детстве был медведь. Свой личный медведь. Маленький эрзац теплоты и родительского присутствия. Был он и у Зябко. И вот чёрными ночами, покрытыми глубокими общечеловеческими сновидениями, маленький Зябко брал медведя и, выбравшись из постели, шёл с ним в сад. Малина, звёзды, тёплый ночной ветер. Можно было сесть на каменном порожке дома и смотреть в вечность, удерживая своего одинокого друга от

слёз, забвения, лунатических припадков и прочих глупостей. Иногда же мальчик должен был идти. Он видел перед своими широко открытыми глазами какой-то другой мир и шёл по невидимым дорогам. Как удивительно, что они топографически совпадали с реальными. Не чудо ли? Та дорога, по которой шёл маленький Зябко, была красной, как шёлк, как лава, текущая с горы. Такой чудный цвет был у дороги, какой он увидит в реальности только годы и годы спустя. Дорога извивалась и вела, внутри этого сна звучала музыка, похожая на танго, чёрно-красное вкрадчивое танго, от которого Зябко вставал со своей постельки и шёл из комнаты в комнату, в проём двери и дальше.

И как-то Зябко, маленький лунатик Токородзавы, вышел ночью, обняв медведя левой рукой. Родители спали. Вообще все спали. Вероятно, прилёг спать и его медведь. Встал за узенькой спиной четырёхлетнего человека Ангел Хранитель. Открылась дверь, красно-чёрная дорога легла под ноги и чётко совпала, как по сетке абсцисс и ординат, с тропами окружающего пространства. Был август. Шёл дождь. На посёлке было ветрено. Музыка звучала ровно, не приближаясь и не удаляясь. Зябко шёл босиком в тихом поселковом тёплом пространстве, шёл ровно, чуть улыбаясь. Потому что ему было хорошо, ему было интересно идти, тревожно, но интересно. И так он шёл, долго-долго шёл. И всё ему что-то снилось на длинной красной дороге без конца и начала, что-то казалось, мерещилось, закручивалось и выпрямлялось.

А потом не понять что случилось, и Зябко внезапно осознал, что ему сорок лет, идёт снег, что я говорю, идёт, — валит снег, он в потрёпанном пальто и лёгких не по сезону туфлях чешет по первой линии с цветами и плюшевым медведем в руках. На медведе висит ценник, а цветы — типичные европейские розы с длинными ножками, перевязанные широкой зелёной лентой. Да что же это такое, ошеломлённо думал Зябко, осматривая растение в одной руке и зверя в другой.

Роза, род женский, шептали его губы, **розан**, напротив, мужской; куст и цветок *Rosa*, южн. рожа, зап. ружа. *Дикая роза*, шиповник; садовая, центифолия, махровая. *Китайская роза*, *Hybiscus*. Садовых и горшечных роз, ядрёна вошь, разведено уходом бесчисленное число пород.

Нет, что же это такое, Господи! Мама! Роза, **розет**, **розетка**, мелкий алмаз плоской с исподу грани. || **Розет**, растен. *Reseda luteola*, желтуха, церва, вау, красильная резеда. || **Розетка**, всякая прикраса, резная или лепная, в виде цветка розы. *Альпийская розочка*, *розанчик*, цветок, похожий на розу и растущий на снежных пределах Альп. **Розановка** ж. водочная настойка на розовых лепестках. **Розовый**, к розе относящ. *Розовая водка*. *Розовое масло*, эфирное, летучее, из роз. *Розовое платье*, цвета алых роз. *Розовая лошадь*.

Какая, на хрен, лошадь, что происходит? *Это такая лошадь*, о которой можно сказать, что она светло-железистая с медным отливом.

Взгляд Зябко остановился на здании Театра оперы и балета. Давали «Травиату». Облепленная белыми густыми мухами, возле театра стояла публика, качалась, как кисель, переминалась с ноги на ногу, курила, гудела слегка. Сборище пчёл мохнатых. Пчёлы медленно засовывались в улик. Сквозь снег рядом с театром просматривалась золочёная фигура певца и кумира. Это ты, ты во всём виноват, хотелось Зябко бросить в лицо скульптуре незаслуженный упрёк, но он сдержался. А ты что, обратил он свой взор в сторону медведя. Что ты? Мохнатая морда застыла в грустной меланхоличной улыбке, плюшевая Джоконда. *Ursus*, сам себе ответил Зябко, род хищн. млекопитающих, во всех странах за исключением Африки и Австралии, белый (*Thalassarctos s. Ursus maritimus*) в поляр-

ных морях, тюленями и рыбою; чёрный (*U. americanus*), мех, в сев. части Сев. Америки; гризли — крупный зверюга Скалистых гор; бурый (*U. arctos*), Сибирия, Скандинавия, Карпаты и Балканы; медведь-губач — горы Ост-Индии и Цейлона. Имеет длинные хоботообразные губы. Какой ужас, млять, какой ужас. Длинные хоботообразные. Но хорошо, да-лее, *медведь* — биржевой спекулянт, играющий на понижение цен...

Это к делу не идёт. Итак, распадаются на 2 группы: 1) настоящих медведей (*Ursina*) с единственным родом *Ursus* и 2) подмедведи (*Subursina*), небольшие животные с длинным хвостом: панда, бинтуронг, кинкажу, носуха (коати), еноты. Я умру, мама. *Подмедведи. Подлоси, засобаки, передзайцы, надгуси, вместодятлы.*

Присев на заснеженную скамейку, Зябко закурил и красными воспалёнными глазами попытался нащупать логику. Кинкажу, млять, бинтуронги. Мама! — снова в отчаянии позвал он. — Где? Где я, мама? И сам себе ответил: *М'АМА, левый приток р. Витим (Бурятия и Иркутская обл.). Берёт начало двумя истоками — Левая Мама и Правая Мама на сев. склонах Верхнеангарского хр. Длина 406 км (от истока Левая Мама). Питание преимущественно дождевое. Половодье с мая по сентябрь. Замерзает в октябре, вскрывается в мае.*

Я схожу с ума, сказал себе Зябко, встал и побежал. *Судоходна на 110 км от устья, монотонно простучало у него в голове.*

Ворвавшись в толпу гуляющих, он стремительно миновал водовороты и течения на бульваре и уже через пять-десять минут был в новом книжном магазине. Поздоровавшись, сразу направился к нужным полкам. Достав Даля, молниеносно нашёл:

«МАМА ж. **маменька, мамонька, -мочка**, матушка, родительница: **мамуня, мамуся** южн. зап. мамусь или мамысь костр. || Мама или **мамка, мамушка** (местами употреб. вм. *мать*), кормилица, женщина, кормящая грудью не своё дитя; || старшая няня, род надзирательницы при малых детях. *Вырастешь велик, будешь в золоте ходить, нянюшек и мамушек в бархате водить* (колыбельная песня). *Мамка не матка.*

В магазине было тихо и тепло. С роз и медведя на пол капали крупные серые капли. *Уродила мама, что не примаёт и яма!* Извините, мы закрываемся. Вы не могли бы. Да, конечно. А вы не подскажите, какой у нас год? *Искал дед маму, да и попал в яму.* Такой-то, ха-ха, совсем заработались в своём издательстве. В издательстве? Ну конечно, в издательстве. Вы же такой-то такой-то? Вероятно. Да что вы, вероятно! Совершенно точно! Я же вас знаю, мы у вас книги на магазин закупали. Помните? Я Лариса Дмитриевна, а это моя бухгалтер Валя. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте, Зябко. А вы, вероятно, на праздник? На праздник? Какой праздник? Боже упаси! А кому же тогда медведь и розы? Жене? Какой жене? Что вы врёте, нет у меня никакой жены. Не может быть. Себе я купил и розы, и медведя. Я сейчас дочитаю эту словарную статью, «мама и медведи» называется. У Даля. Даль очень силён был в определённых вопросах естествознания. И всего доброго, Лариса Дмитриевна. И вам, Валя, тоже всего скажу добрейшего. Ха-ха. Какой вы смешной, Зябко. Действительно, умора. Сам на себя не налюбуюсь. Да вы Нарцисс, Зябко. Давайте без новых слов обойдёмся, Валечка. Сегодня *Нарцисс* уже не пойдёт. (*Narcissus*), *род растений из семейства амариллисовых.* Не пойдёт. Право слово, хватит на сегодня же с меня роз и медведя. (*Пес. Пес. II, 1, Исайи XXXV, 1*) — *луковичное благовонное растение, наподобие тюльпана, из семейства амариллисовых, растущее большей частью дико в Западной Европе и в Малой Азии. В древние...*

Вот умора, Зябко. Вы, Зябко, умора.

Да, я умора. Теперь можно я дочитаю до конца?

Мамин, маменькин, мамочкин, мамунин, мамусин, материн, моей матери принадлежат. **Мамкин, мамушкин**, кормилицын. **Мамич** м. **мамична** ж. сын и дочь мамки, молочные брат или сестра питомцу. *Казанцы выдали двух мамичей царя Едигера. Мамочка (южн.)*, говор. ласково вм. милая моя, голубушка сударыня. **Мамоха, мамошка**, любовница».

Кто такой, млять, этот Едигер? Придётся искать. Ну, вот и всё. *Любовница*. Видите, я дочитал. Всё, я уже уйду.

...времена он украшал собой поля палестинские и долину Саронскую. Я нарцисс Саронский, лилия долин, говорит о себе Таинственный Жених в кн. Песн. Песней (II, 1). Нарциссы и доселе ещё встречаются в обилии на долине Саронской и в Египте. Надо разобраться с медведем и розами. Да теперь ещё и с Нарциссом. Вы такой смешной. А все редакторы такие. Да? Точно такие, точно. У нас был редактор, до меня работал, был вылитый Луи де Фюнес. Вы-ли-тый. Представьте, Валечка, Луи де Фюнес. Выпал с двенадцатого этажа вот в такую же снежную осень. Любовь? Какая любовь, Валечка, какая любовь. Вы тут, я погляжу, книжек перечитали. Совершенно нечаянно. Полез пьяным под Новый год на окно самодельные снежинки вешать из бумаги. Самодельные снежинки. Какой ужас. Да, я тоже так считаю. Искусственный снег — это пошло...

СУРЧИНЫ

«Куды, бывало, ни взглянешь, везде по сурчинам сидят они на задних лапках, как медвежата, и громким свистом перекликаются между собою», — писал Аксаков, живший в Бугурусланском уезде Оренбургской губернии в самой гуще живого русскоязычного поселения байбаков. На Украине проживают в нескольких обособленных очагах.

Национальный банк выпустил золотую монету массой 1,24 грамма, на которой этот милостивый зверь изображён в состоянии эрекции.

С утра было пасмурно, однако в тот момент, когда старший научный сотрудник Харьковского национального университета Виктор Токарский вынул байбака из его домика, выглянуло солнце, и байбак Тимка увидел свою тень, сообщает *proUA.com*

Млять, сказал заспанный *Marmota bobak*, що вам треба. Відчепіться від мене, сцукі, педераста довбані, я двісті років тут спав і ще спати буду.

Ни фи́га, говорят журналисты, мы из самой Токородзавы к тебе приехали, а ты выдѣльваешься. Ну, ладно, говорит сурок, записывайте.

В доме сурок ведёт себя как ребёнок. Он капризен, лезет в постель к хозяевам, ночью гадит на хозяйку, в одиночестве же хиреет. Часто в органы внутренних дел обращаются люди, доверившие байбаку свои банковские реквизиты.

Их излюбленными растениями являются дикий овёс (*Avena sativa*), пырей (*Agropyrum cristatum*), цикорий (*Cichorium intybus*), клевер (*Trifolium repens*) и полевой вьюнок (*Convolvulus arvensis*); обычно не пьёт, довольствуясь утренней росой и маковой соломкой. Потребляет саранчовых, моллюсков, крабы, гусениц, муравьиных куколок, кукушек и мелких зайцев. Запасов на зиму не делает. На какой, собственно, куй, если он всё равно спит.

Посмотрел я на свою тень и вижу, что современная политическая картина мира долго не протянет. Поэтому в настоящее время мы должны показать всему миру, что Укра-

ина — страна с большими амбициями. Мы должны жить, как повстанцы, и бороться без надежды победить! Готовьте схроны, братья, покупайте евро. Из зимней спячки байбаки выходят в конце февраля — начале марта. Главным сигналом опасности является не столько свист, сколько вид бегущего иностранного солдата. Передвигаются сурки в природе двумя способами: шагом и галопом, как, собственно, и лошади.

Тимофей замолчал, почесал промежность дулом револьвера и поблагодарил присутствующих за внимание. Охренеть, сказала старший научный сотрудник Варя и сомле-ла. Журналисты задумчиво выпили водки, собрались и уехали.

Groundhog day ежегодно отмечается 2 февраля в штате Пенсильвания, США, но, по словам одного из преподавателей Харьковской государственной академии культуры, на Слобожанщине обычай прогнозировать приход весны с помощью байбаков существовал ещё до появления на территории Северной Америки млекопитающих. Суть праздника заключается в следующем. Однажды случилось ведущему телевизионного прогноза погоды канала приехать к нам в село. Тут снегопад. Выпил, покушал. С утра похмелье. Выпил, покушал. Десятый год участковым у нас работает.

Вечерняя Токородзава. Украина — родина футбола и сурков.

В некоторых домах байбаков держат в качестве добровольных охранников. Не брезгают этим и частные фирмы. Расскажите, как было дело? Дело было так. Сплю я. Слышу свист во сне. Думаю — вьюга. Дальше сплю. Снова свист. Снова — вьюга. Потом выстрел, выстрел, свист, выстрел, свист, выстрел, свист, выстрел. Думаю, да что там такое? Выхожу — мой Иван, так зовут сурка, двух грабителей застрелил из помпового ружья и стоит себе посреди сугробов насвистывает. Я ему говорю, Иван Михайлович, неужели надо сразу стрелять? Неужели нельзя было как-то договориться? А чего тут договариваться, это же иностранные журналюги, шпионы, мать их. Не дрейфь, скажем, что их волкли подрали. Какие такие волкли? Да ты же лыка не вяжешь, волкли! Ты же пьяный снова за оружие берёшься! Ничего не пьяный. Звери такие. Типа упырей. Волкли и зайкли. А что вы хотите. Пограничные районы.

Любовь населения к суркам? Копчёный — исключительно. Вкусовые качества? А на кой тебе? Не шоколад, поди. Главное в нём, что он стоит. Стоит и стоит, прищурившись, как каменная баба, стоит и смотрит вдаль. Думает. О чём?

Что можете сказать в этот праздник телезрителям нашего канала как участковый? Вышел ли он из домика, увидел ли он солнышко, заметил ли он тень? Какой Лион? Что значит какой? А профессиональный убийца, не знающий пощады и жалости, который ловко знакомится со своей малолетней соседкой Матильдой? Точно, точно. Они ещё везде с фикусом ходили. Уж лучше бы сурка себе завели. Что фикус? А так бы был савояр и красавец. Лион-2. Беспощадный и прыгучий, чующий наркотики и их незаконный оборот, сурок-таможенник и политик, порядочный сурок-полицейский, верный любовник, надёжный партнёр, прекрасная мать, здоровый отец, добрый учитель, честный вменяемый президент. Чтобы в стареньком фартуке, пахнущем яблочным пирогом, на ходу вытирая мохнатые тёплые лапы свои, приходил по вечерам, включал светильник у кровати, гладил по голове, говорил: спи, спи, Зябко, спи. Это не я всё прожил, это не я. Я ничего из этого не помню. Ну, хорошо, хорошо, конечно, не ты. Спи. Всё будет хорошо. Всё-всё? Всё-всё, белым, белым будет снег, серым, серым будет свет, и *Мартина по-прежнему, Зябко, будет пряхать ниточку льняную*. Не хочу песенку, Тоторо, хочу сказку. Хорошо, дорогой. Будет тебе и сказка.

ОГНИВО

Всё, что было тогда, существует где-то. Теряя в своей осязаемости, прошлое всё более есть. В украинском колорите этого слова. *Воно Є [vono je]; (оно есть; it is; es ist)*. И как же мне нравится это самое лирически протяжное Є. Чем меньше его помнят, тем более оно расцветает. Расцветает, как сирень, весь куст, внезапно. Ах! И Є — *es ist* — укрепляется в себе самом на границе бытия и небытия. С высоты лет всё это похоже на облитое оловом фигурное печенье. Там ходят те фигуры. В длинных университетских коридорах запах специфической пыли. Ровный гул, гудящая тишина времени, прерывающаяся хлопками дверей. Их открывают студенты, которые запоздали. Поздние студенты пришли, открыли дверь. Извините, можно войти. Да, садитесь на место, вечно вы опаздываете. А мы поздние студенты. А дверь в это время, ведóмая сквозняком, с радостным хлопком — бох, стреляет. У нас сегодня глагол *быть*. Кто может рассказать, что он значит? Я могу. Говорите. Я лучше прочту. Прочтите. У Даля. Хорошо. Пусть у Даля. Итак, что там у Даля. Вот что у него.

Простись со мной, Мария,
Остаться не вели.
Простись со мной, Мария,
О дай мне уйти, Мария,
Не то я умру от любви.

Очень хорошо, мне припоминается похожая история. У нас на курсе в одна тысяча девятьсот двадцать четвёртом в Калуге училась одна женская особь с васильковыми мохнатыми глазами. Это было нечто, доложу я вам... Но, позвольте, где тут глагол *быть*? Он подразумевается. Нет, так не пойдёт. Хорошо, я ещё раз попробую. Снова Даль. Давайте, давайте.

Я Вас любил, любовь ещё *быть* может.

Вот тут есть нужный нам глагол, но позвольте, это не Даль. Даль, не извольте сомневаться. Он прекрасно пел эту песню. Да? Совершенно не уверен, что это песня. Скорее даже напротив. Не могли бы вы подобрать нам что-нибудь ещё? Отчего же.

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал её, — он ведь был brave воин, настоящий солдат.

Да, здесь имеется прошедшее время требуемого глагола, но при чём тут *собака*, всё прочее и Даль? Но позвольте, профессор, как же. Именно Даль и *был* тем, кто *не успел опомниться*. Вы думаете? Несомненно, я в своём детстве неоднократно сталкивался с этим фактом. *Было добро, да давно; опять будет, да уж нас не будет*. Хорошо, хорошо, студент, очевидно, нам следует уточнить что-то. Мне нужен Даль, писавший слова в словари. (1801–1872), русский прозаик, лексикограф, этнограф. 22 ноября 1801 в м. Лугань, ныне Украина. Отец — врач, выходец из Дании, богословие, древние и новые языки. Мать — немка, пять языков. Незадолго до смерти из лютеранства в православие.

Ах, этот, надо было вам мне так и сказать с самого начала. Но нам неудобно же его тут цитировать, профессор. Почему? Ну как, он же был антисемит. С чего вы взяли? Да с того. Все знают об этом. Неужели, странно. У меня за годы профессорской деятельности, знаете, сложился совсем другой образ этого человека. И у него так хорошо представлен нужный нам глагол. Да вот, пожалуйста, я могу припомнить самое начало: **бывать, быть, бывать**; существовать, обретаться, находиться где, присутствовать; || случаться, делаться, становиться; || иметь, говоря о свойстве, качестве или состоянии; || приходиться, навещать. Самостоятельное значение глаголов этих выражает: присутствие, наличность; вспомогательное значение зависит от другого глагола и весьма близко к глаголу *стать*. Глагол *быть* часто только подразумевается. *Бог был, есть и будет вечно. Как (что) будет, так (то) и будет. Была не была — катая с плеча. Будет и наша правда, да нас тогда не будет. На свете всяко бывает, и то бывает, что ничего не бывает. Не на то пьёт казак, что есть, а на то, что будет. Ещё и то будет, что и нас не будет. Кто больше бывал, тому и книги в руки. Ешьте, дорогие гости: всё одно будет (т. е. надо) собакам выкинуть. Не было ль тут солдата?*

Довольно, достаточно. Вот вы, Мэй, ответьте на поставленный тут вопрос. Какой вопрос? Предыдущий студент, повторите прозвучавший вопрос. Прозвучало несколько вопросов, профессор, но Мэй имеет смысл отвечать только на последний: *Не было ль тут солдата?*

Совершенно верно. Давайте мы с вами ответим на этот вопрос. Итак, не было ли тут солдата? Что может мне сказать аудитория?

Был солдат, пан профессор, молоденький солдат, йшов з москалів до неньки, рідної неньки, до нашої Токородзави, на славетний Кальміюс.

Шёл солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шёл домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма — безобразная, противная: нижняя губа висела у неё до самой груди.

Здравствуй, дружок, сказала немолодая уже, но ещё очень привлекательная женщина сиплым от курения крепких сигарет «Голуаз» голосом, здравствуй, солдатик, Даль мой ненаглядный. Расскажи-ка мне, где ты служил, что подельывал. А что подельывал, говорит солдат, саблю точил до полного изнеможения, мух ловил, за мамкой сучал. Всю службу мечтал сесть и спокойно самостоятельно съесть банку сардин. Можно без хлеба.

О мамке забудь, а вот я тебя могу познакомиться с тремя отличными собаками. Ты, как старый кинолог, оценишь этих развратных сучек. И делай с ними, что хочешь, но вот *огниво*, ср. *Кусок камня или металла для высекаания огня ударом о кремень* принеси мне. *Каменное о. Мешочек с кремнём и огнивом. Пршвн*. Ты понял? Огниво, солдат, дай мне своё огниво, то, отчего огонь бывает испепеляющий.

Молодец, однако, этот *Пршвн*, но что же ответил солдат, как дальше развивалась эта в высшей степени оригинальная коллизия? И зачем понадобился кому-то в нашем-то веке этот старинный прибор для получения огня? Что-то тут непросто. Я вспоминаю одну похожую историю. Дело было в январе одна тысяча девятьсот семнадцатого в Калуге. Её звали Пелагия. Высокие, молодые, в серебряном каком-то свете мы шли по улицам, а за нами бежали мраморные псы Диогена, потому что были мы бедны и благородны, как церковные просветлённые крысы. Ах, Калуга, Калуга! Ока, Циолковский, Чижевский, Дзержинский...

Успокойтесь, профессор. Экий вы впечатлительный персонаж! Так, а чем же всё кончилось? Чем кончилось, профессор. Все полюбили друг друга, чтобы не увидеться уже никогда.

ЛАРЯ

Когда умирает кто-нибудь близкий, это бывает очень трудно. Особенно тому, у кого есть какая-никакая совесть. Потому что нельзя уже ничего исправить, нельзя сделать плохое бывшее не бывшим, а не бывшее, но должное быть хорошее вдруг сделать таким, которое как бы прошло с тобою рядом всю жизнь. Ведь если бы всё не бывшее, но должное быть хорошее вдруг осуществилось, то, возможно, дорогой человек и не преставился бы так рано. Даже наверняка, потому что зачем бы ему умирать, если бы мы так хорошо и здорово вообще к нему относились и всё такое хорошее ему делали. И время попятилось бы вспять. И оказалось бы, что негде нам слезы пролить, потому что успевший же теперь, благодаря такой к нему настоящей любви, жив. И рядом с тобой, и вот.

И всё отлично, но могилка упрямо напоминает, что ничего подобного. Прекрати фантазировать, как бы говорит она. Мол, было то, что было, а если тебе не верится, то можешь посмотреть, как топчется возле калитки тётя Света — поселковая древняя бабка. Все помянули уже, кто хотел, и разошлись с богом. А эту тётю Свету черти притаскали только в седьмом часу.

Ну, кто там ещё. Та цеж я, Светка. Я з учора як заснула, так тільки увечері до тям прийшла. Кажуть, що тут поминали, так я ж і прийшла, я ж Ларю вашого з дитинства помню. Ладно, заходи, помню. Такий хлопець був справний, дуже справний.

От же горе, яке ж горе. Борщ тільки холодний, тётя Света, я греть не буду. Да шо мені борщ твій, давай з тобою вип'ємо. Я тільки вип'ю, тай і усе. Це ж Ларя помер. Скільки в мене ячок потаскав, малим був, так я і не знаю. Як хорь. А скільки черешні моєї... Хорошо, сейчас вам в сумочку положат. Кто-нибудь, положите тётю Свете с собой. С собой возьмиёте. Ну, давайте выпьем. Так а шо, ти і собі наливай, я пити одна не могу, не того коленкору я человек. Не того коленкору. Хорошо, тётя Света. Давайте вместе.

Царство небесне. Царство небесное.

Закусывайте, тётя Света. Не, давай ще другу, та я й піду.

Царство небесное. Царство небесное.

А чого це такий молодий і помер? Хворів, мабуть? Да нет, тётя Света. Не болел. Работал, жил себе, а потом просто пішов до зоопарку і його там загризли дикі звірі.

Отакої.

Да, такая жизнь сволочная.

Не кажи. Нікакой власті у нас в стране немає. Вы ешьте, тётя Света. Ларя, Ларя. А зачем же он у той зоопарк пішов, хай йому грець? А йому, тётя Света, там ліпше працювалось. Давайте, по третей. Стихи он писал, тётя Света. Приходив до зоопарку и писал стихи. Так у нього щось було з головою, мабуть, не тее? Да нет, вроде нормально было. Ну, если честно, более менее, тётя Света, более менее. Так я і кажу, шо боліє меніє. Мій старий, царство йому небесне, теж після завалу у шахті зробився боліє меніє. Як шось у голову прийде, так і вбити може. Скільки я від нього побігала, скільки побігала...

Царство небесне. Царство небесное.

Так. А шо ж там в зоопарку за такіє звірі, шо вони поїли Ларю? Невже свині? Мабуть свині. Вони кого хочеш поїдять. Та не. Кажуть, шо зебри. А шо воно такіє за зебри? Та це ж такіє звіри полосатые. Так, так. Щось такеє було. Це, мабуть, коли зверху як кобила, а внутрі у неї все полосатое. Як це так внутрі полосатое? Не, внутрі я не знаю какое, тётя Света. А по поверхні таке біле, чорне, чорне, біле.

Ти диви. И як воно поїло Ларю? Із нутра, мабуть, як холера? Зараз, тьотя Света, зараз.

Царство небесное. Царство небесне.

Прийшов Ларя до зоопарку і став сочиняти вірши. Ну, вірши прийшов собі пописати. Ему от этого как бы легче становилось. Как-то веселее становилось. Дома йому міста не було, так он придёт, перелізе через оградку и пишет собі. А тут зебры. Фыр да фыр. Фыр да фыр. Фыр да фыр.

Ой, я плачу! А що таке, тьотя Света, что такое? Да як же ти добре мені це все розкажуєш: фір да фір, фір да фір! Я прямо бачу усе. Бачу, як ці свині полосаті сіли біля Ларі і слухають, як він їм поеми читає. А вони фір да фір, фір да фір, фір да фір. У хаті тепло, пічечка тліє, лампадка біля ікони, батько сплять, а я молозиво їм, бо учора ввечері корова наша теля принесла. І так мені затишно, так мені добре.

Да, и яблоня за окном небеса скребёт. Лето начинается за окнами громадное, тёп-лое. Мы с Ларей идём как будто на пруд мимо заброшенного шахтного вентиляционного ствола, мимо дачных участков, где нет дач, а только бесконечные огороды. Откуда-то с запада заходит грозовой фронт, но нас он не пугает, совсем не пугает. Нам плевать, если честно, на этот фронт, западный он там или восточный. Мы идём между холмами, пахнет нагретой землёй, разнотравьем, цветущей робинией, ветром и камышом.

І я піду, синку, я піду.

Иди, тётя Света, иди. Надо спать. И я пойду. Ложитесь люди, набирайтесь сил. Вам ещё завтра жить, и послезавтра, и ещё долго-долго. А нам с Ларей что. Главное, искупаться и вернуться обратно к футболу. Мы сегодня, за двадцать лет и двадцать четыре дня до его смерти в четыре часа пополудни играем на кубок двора...

ДЯДЯ

Я какое-то недолгое время своей жизни побыл лётчиком-испытателем. Как это получилось? Получилось это так. У меня есть дядя, бывший космонавт. Я его сто лет не видел, но знаю, что сейчас он на пенсии и выращивает пчёл в Сумской области. Пчёлы у него получают громадные, как Б-52. С диким воем они проносятся над холмами и долинами Украины, хищно высматривая и отымая у населения восковые свечки и поминальные записки, пасхальных ангелов и дикий мёд, шоколадные конфеты и книги, сгущённое молоко и пиво.

Ўлики у дяди всегда полны. В них в любое время года можно найти воспоминания школьников и сожаления стариков, сладость первого причастия и слёзы сельского дьячка над раскрытым Евангелием от Луки...

Наверно, жаль, что он к нам не приезжает больше.

Но так было не всегда.

Когда я был ребёнком, он прилетал к нам в форме на новеньком самолёте Су-27 с вертикальным взлётом. Бесшумно и плавно спускался дядя на своей крылатой машине к нам в палисадник. Выкидывал трап и сходил вниз в белом костюме с орденами и медалями.

— Здравствуй, племянник, — говорил он мне. — Я прилетел за тобой. Ты же хочешь стать лётчиком-испытателем?

— Да, я хочу стать лётчиком-испытателем, но, может, всё-таки ещё немного хирургом или автослесарем.

— Но в самолёте нет места для хирургии, племянник.

— Тогда циркачом или, может быть, водителем троллейбуса, а ещё я пишу стихи. Могу сейчас прочитать пару-тройку стихотворений. Я их посвятил Мэй и Сацуки, двум девочкам, лучше которых в моей жизни ничего нет...

— Ну, тогда, извини, я должен тебя серьёзно проверить на специальных военных медицинских приборах.

— Зачем, дядя?

— Как бы тебе объяснить. Нужно узнать, на что ты годен, чтобы в бою, на высоте семьсот километров, или при испытании летательных аппаратов ты не огородил как-нибудь неприятно ни меня, своего дядю, ни Родину свою — Союз Советских Социалистических Республик.

— Ясное дело, дядя, доверяй, но проверяй. Каждому по наклонностям, каждому по потребностям.

— Точно. Поэтому ты должен сесть в эту барокамеру и читать свои стихи, а мы на тебя будем смотреть и играть в карты.

— Дядя, но какой же смысл читать стихи в барокамере? Их же оттуда никому не слышно.

— Конечно, не слышно, малыш. Как в жизни. Никто ничего не слышит. Ты можешь кричать. И ты, я думаю даже, непременно будешь кричать и даже местами пить и плакать. Но получится изо всего этого одна ерунда и неразбериха. Так что садись в барокамеру, а твой дядя, хирург мистических полётов, Гагарин человеческих душ, расскажет тебе, чем ты болен на самом деле.

— Хорошо, дядя, но я полностью здоров. Всё хорошо. Садись лучше сюда за стол в саду под яблоней белого налива. Сейчас мама придёт из магазина. Она принесёт нам молока и хлеба. А папа вернётся с работы и будет читать вечером Твена или Джерома. В палисаднике уже зацвели абрикосы, и ты услышишь, дядя, их аромат, ты услышишь? Это блаженный запах моего детства, которое уже никогда-никогда не повторится, и я здоров, я полностью здоров.

— Да, сейчас ты здоров, но хочешь, я тебе расскажу, как всё будет дальше? Дальше всю свою жизнь ты будешь думать, что вот там, за тем поворотом тебя ждёт вечность, а её там не будет. Там будут рассветы и закаты, долги и женитьбы, вечная нехватка денег и постоянные бесконечно дурацкие работы ради куска хлеба. Ты будешь стариться, а потом умрёшь. И никто тогда не заплачет, сынок, никому не будет до этого дела.

— Ну и что же, дядя. Это же жизнь. Зато в ней будут счастье и злосчастье, лев и собачка, солдат и огниво. Будет в ней умиление и Благовещенье, и радость на Пасху, а когда придёт мой срок, пропоёт надо мной Ангел:

Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, — свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Д Ы Ш А Т Ь

СТИХИ

Юрий Цаплин

ШКОЛА ЧЕРВЯКОВ

«И эта детская площадка
тебя, поди, переживёт —
ну, бегай, прыгай».

Как сорняк,
сухим стволом перестоявший зиму,
осень ли, весну,

стоит старик в такой же пыльной шубе,
и тросточка его живая
стучит во тьму советского асфальта.

Старик:

«Забыть значит начать быть», — писал Михаил.
«Память это всего лишь душа», — говорил Андрей.
Есть вещи повыше души, но пойдя поищи,
или подольше: планеты, собаки, хвощи.

Или покруче: культура и цивилиза...
что в ней ни тронешь, всё тут же на помощь сполза...
Бог есть любовь. Чем питается чёрт — непонятно:
очень худой и про деньги поёт неприятно.

Долговечны развалины памяти, камни душевны.
Голоса неслиянны, молчаний слова совершенны:
сократи, что имел, вполовину, на четверть, на треть —
кто себя пережил, разве лучше бы мог умереть?

Детский хор, молча:

Вот рапира, вот лыжная палка,
вот тапир, вот охотник, двустволка —

никого в этом мире не жалко
кроме самого серого волка.
Важно то, что он серый. Он самый!
Дай дневник, возвращаешься с мамой.

Старик Юрий Владимирович:

Вот усик лета будто виноградный.
Как узок лист его, пока он молод!
Не лист, а почка. Не слова, а всхлипы,
вернее, всхряпы.

Песочек тела тут же беловатый,
репях, собачий хвост, сырок творожный,
сближений волапюк далековатый,
тропинок эсперанто осторожный.

Дворец кроватей и перегородок,
где палец твой морщинист, как окуроч;
протуберанцы медленных растений,
обид и счастьеев школьные портфели.

Окружности костра или плевка.
Две линии, жука и червяка.

Хор, отогреваясь:

Не жалей, не зевай. Поминутно
смерть и свет для тебя происходят.
Беспредметный урок потому что.
Есть у чашки поверхность с исподу,
а посмотришь вот так — глубока.
Прекращаем валять дурака.

Старик Юрий Владимирович, босой:

И юношей умы во тьме,
где звёзды смерти светят вам
(я тоже юношей бывал,
но это быстро забывал),
и женщины кальмар тугой
с холодноротою ногой —
хранятся, вечные, при мне

другим на зависть головам,
и в хорде сладкий холодок.
Но входит кто-нибудь другой

и говорит: «Спасибо, сня...», —
нас, кто там был, не съев ни зги,
но как бы взяв и прекратив,
накрылась премия в квартал.
Тю-тю двуногие глаза.
Все чертежи смывает дождь.
Теперь вокруг одни круги,
а дальше больше ни аза.
Где тайн был шкаф, там всё фигня,
как жизнь, в которой нет меня.

А я сомнителен себе,
хоть и со-мнителен тебе —
и это при живом-то «всё»,
которое почти вполне.
Собаки лают в унисон,
как пел Денисов-Эдисон,
а эта девочка ещё —
уже старушка в пермане...
Её в пергаменте рука
страшна, как сбои в ДНК.

Здоров ли чей здоровый сон?
Хранятся вечные слова
«пельмень», «сосиска» и «ать-два»,
собака, кошка, партактив.
Судьбы пятнистая нога
ползёт в тумане четверга,
и что-то нежно говорит
её дружок полиартрит;
консервы воют в унисон,
стучит свиной презерватив.

Маяк карманного огня
всё ярче, словно неродной.
Храпит пробитый эполет,
десяток новых разменяв.
«Переучёт и перегной,
полёт, мелеет и омлет,
Нева-Венеция весной...»
Пошевели теперь сама:
по истеченьи жёстких лет
приходит мягкая зима.

Хор, с потусторонне патриотическим душком:

Что с печалью глядишь, поколение?
Ляг, Алёнушка, как на войне.
Отвратительны наши стремленья,
только лень неприлична вдвойне.
Шкура в дырочках, день догорел,
за попытку стреляться — расстрел.

Сосед дядя Юрик, накачивая гитару:

Быть, чтобы казаться.
Думать, чтобы забыть.

Не обижаться.
На тёплое дуть, в ладоши не бить.

Медленно плыть по стечению обстоятельств,
не отражаться ни в чём.
Гладкой воды изнутри не касаться,
топориком, кирпичом.

Я утюжок, и ты утюжок.
Город Чугуев, чёрный флажок.
Тонкая нота дня
над темнотой, звеня.

Хор, почтительно:

Царь-царевич удилице правит,
колокольчик на небе звенит:
«Раздавайтесь, деревья и травы!» —
запускает собачку в зенит.
Шапка красная, вопли, штыки,
пытки, прятки, лопаты, крючки.

Ю. В.в, плательщик по общей ставке:

Я мелкий мылкий идиот,
разумный человек.
Работаю на депозит,
потом гляжу сблизил —
не так уж мал, не столь уж мыт,
не больно-то умён.

С тобой и рядом не сидит
такой, как я. Но вот

весёлый крепкий ангелок
ду-душу поволок.
Не попадает зуб на зуб?
Раздуем уголёк.
Не запретите вы мне, черти,
мечтать о жизни после смерти.
Я — граб! Я — краб! Я чебурек!
А это кто выходит вон?

Хор, голодая:

Аккуратен, как ангелы мщенья,
кто камыш истребляет в пруду
на рассвете большого ученья
в девятнадцатом дважды году?
В поле девушка, в ней результат,
и пора помолиться назад —

Сервант в костюме жены или сестры:

Красные рыбы и зелёные горошки,
белые небосводы тарелок.
Ложечки, ляжки, желудки, подвздошья,
изображенья грибов и белок —

мир невелик? Но возьми большую
с супом или борщом.
Хлеб одесную, а соль ошую —
знаешь, всё это о чём?

Из перебранок и перестрелок
слышишь ножей и вилок
стук? Белые горизонты тарелок,
ноги пустых бутылок.

Хор, приподымаясь на всех:

Лапы. Гвоздь. Два кольца, три дорожки.
Колосок — голосок молока.
Кровь на травке ребёнка немножко,
ненадёжное слово «пока».

Вот звезда, вот корона, вот мяч.
Солнце воздуха, мухи удач.

Лётчик-ополченец Св. Георгия, во тьме:

Что далеко — в сумерках будет ближе.
Что хорошо — завтра не будет лучше.
Выйди во двор весь в разметке чужих созвездий:
как по странице бегают твёрдые мягкие знаки яти и фиты,
видимые с той стороны, и не выглядывают обратно.
Ночь полна, как колодец в правильном тёмном месте,
и риторики костёр шипит до рассвета
с той стороны, но не просится к нам на эту.

Что далеко — к полночи станет выше.
Что хорошо — не исчезнет, а превратится
в утренний холод. Впустишь чужую свою собаку,
встанешь на крыше, потянешься — археоптериксов стая,
каменным расправляясь будущим отпечатком,
и полетишь навстречу точке, передавая приветы,
всё, что возьмут, позволяя кляксам и опечаткам.

Хор, стремительно охлаждааясь:

Обезьяны лукавства и мощи,
человечности мерные рты,
это вилка и нож, если проще,
а трилистник прожуйте, скоты.
Патрик, пряник, ондатра, причал,
Заратустра, ошеек, печаль.

Пораженец Ц., в долгий ящик:

Свободней птицы только овощ,
вот он по веточке ползёт.
Она летит, и бог ей в помощь,
хоть птичник, хоть овощевод.

Теперь одна у нас дорога:
по мановению ножа
мы начинаем славить Бога,
неутешительно визжа.

Полна природа кратких знаний,
но вот порог, но вот порог —
предел мечты и начинаний,
простой, как валенок, итог:

бульон, компот, собака, сила,
картонка, яблоко, могила.

Старик и мойры (пускает слюни, ткнут):

Стыдно время тёплое терять,
но стыдней об этом повторять —
повторяя, вновь теряешь время.
(Глупо же об этом говорить.)
Как овца тыняешься, небрит.

Думаешь, мол, бремя — это рама?
Рана — ты, и сквозь тебя — течёт
(будто все — ничто, и нас нет дома).
Идиот даёт себе отчёт,
умный перешлёт его другому.

Что важней, корова или стог?
Запад утром смотрит на восток,
а восток на запад. Вечереет,
и руки горячая рука
как реки прохладная река

(это кто киркой, как криком, бреет?
выторг — окончательный восторг)
из груди, но лето не умеет
задушить зимы острожный стон:
потемней, печальней, поскорее...

Им кружить, как бабочке в колодце
(ловля неболикая внахлест),
косточками умысла колотьяся,
доставать до самых влажных звёзд.
Что растает, то и остаётся.

Эпилог. ВЗРЫВ СВЕРХНОВОЙ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КВАРТИРЕ

Помнишь, Паша, тот вечер, когда я вешала в коридоре лампу?
Да, Саша, я — твоя душа.

Времени, чтобы жить, как всегда было мало.
Лампа была беззастенчиво хороша.

И когда мы с тобой стояли на табуретке,
когда в дверь непонятно глядела наша жена:
как Лисичка в Кораллах или крыса сквозь ветки, —
я была для тебя, вот скажи, хоть на миг неважна?

Да какое там миг! И когда засияло, как Бог,
ваше Солнце, и все побежали, кто мог,
прочь из этого коридора,
я подумала: «Всякий пересекаемый нами порог —
не прекращение Разговора,

а его продолжение». Или наоборот?
(А жена уже забегала за поворот.)

По делам. Поделом. Я тогда потерялась на миг:
без меня как-нибудь догоняй свою нимфу-пастушку, —
всё равно всё построено здесь из неправильных книг.
И пора на просушку.

Хор:

Свет Свет Свет Свет
нет нет нет нет
Свят Свет Свят Свет
Свет
свет
свет
свет
и т. д.

Григорий Гелюта

СТРАНА ДЕТЕЙ

† † †

Это время пройдёт
как приступ неизлечимой
прекрасной болезни,
безумия,
сырости, прохлады —
Так тяжело переносишь
свой вес
через переходы, переезды,
заводов и фабрик ажурные колоннады,
закоулки,
пахнущие пряностями, прогнившими матрацами, чужими
снами
что-то непременно случится, скорее рано, чем поздно,
так что спрячь за пазуху свой
чёрный
белый
моментальный снимок
вишнёвую косточку
краеугольный камень
это легко
тому кто умеет молчать
стихами и прозой,
встречать никого по дороге
железной
битумной
разлинованной,
говорить наощупь
о том, что ни мало ни много
между телом и телом —
солнечный свет

ничего
больше.

† † †

крыши домов покрываются чешуёй,
жёсткой,
с кристаллами соли в трещинах по краям,
люди-рыбы беззвучно открывают двери
и рты,
луч прожектора выхватывает из темноты
руки и плавники;
по всем каналам передают
дожди,
как эстафетные палочки,
барабанят;
ночью просыпаешься —
так темно и тихо,
забываешь все языки,
перепрыгивая через лужи
в своей постели,
вспоминаешь какие-то незаконченные дела —
все
они останутся
на мокром сером песке,
после отлива,
в чём мать родила.

† † †

тут третьи лица
говорят вторым:
и как нам с этим жить? и что нам делать?
а им в ответ, конечно же, молчат
и происходит множество событий —
трещат цикады, ярко светит солнце,
четыре муравья несут бревно,
как в ту хрестоматийную субботу,
и в море падает какой-то самолёт,
а ты глядишь, прищурившись, сквозь стёкла,
и ветер треплет волосы и
простынь на бельевой верёвке во дворе.
как будто ничего и никогда.
а кошка разлеглась на солнцепёке,

у лиц вторых сметану кто-то съел,
но что нам с этим делать —
непонятно.

‡ ‡ ‡

на какие ни поднимайся этажи,
не увидеть тебя.
вот матросы всматриваются в туман,
цепляясь
за бельевые
канаты из вытянутых жил,
но никто не кричит
земля
поворачивается, свет заливаает впадины,
линии на руке,
выходит из берегов, что твои слова.
это — всегда болезнь, болотные огоньки
каждое утро ты прова-
ливаешься всё глубже,
минуя тайные тропы и ходы,
как проглоченная шифровка
крейсер идёт ко дну,
капитан любитесь солнцем сквозь солёную толщу воды,
изучая наощупь в себе
твою
глубину.

‡ ‡ ‡

уважаемый,
похожий на конфету в выгоревшей обёртке,
господин бывший главный редактор,
скажите, сколько ещё
закорючек
променяют черты на лица,
будут дышать в затылок?
в этом краю электричек и бумажных домиков,
присутствующем на всех картах,
каждое несказанное слово идёт из-под молотка
за тридцать
копеек, куда глаза не глядят,
в одну из неразличимых на горизонте точек —
а здесь все,

кроме летучих мышей, — домоседы;
я больше нигде не был так счастлив днём
и печален ночью,
у меня никогда не было таких
несуществующих соседей,
уважаемый господин бывший,
скажите,
когда все эти бумажные фонарики потухнут,
что вы напишете
о них
в своей предпоследней книге?
ночь нежна — значит,
пасмурным будет утро;
за окном тихо бродит цапля,
не отзываясь
на лягушачьи крики.

† † †

я хочу умереть
в тебе,
как в заброшенном
заколоченном
доме,
умереть, глядя тебе в глаза, —
это как фотография (только чуть-чуть больше):
третий справа,
в переднем ряду,
улыбается чёрно-белой улыбкой —
так и храни меня
в долгой папке,
коротком ящичке
подальше от сердца,
на самом дне
рожденья;
не вспоминай,
как только ты
умеешь.

† † †

Горький Московский —
похоже на название шоколада:
как муравьишка, ползаешь по дорожкам,

квадратикам плитки,
придумываешь маршруты
к задачкам —
на картах в избытке населённых пунктов
с именем твоей смерти,
паучок-путешественник, —
не обижай её,
зябкую, как синица,
при встрече — погладь по макушке,
угости чем-нибудь,
только не шоколадкой —
она тебе ещё пригодится.

‡ ‡ ‡

вот страна детей
с погремушками, куколками в руках;
соломенные дворцы, кирпичные лачуги на приморском песке
каждый камень когда-то был буддой.
вот его глаз,
вот вылизанная солнцем щека,
вот пирамидки, куличики, палочки,
игрушечная детская смерть.
так цикада застывает на неопределимый срок
в пыльном углу над шкафом, заваленным стопками книг.
будды на лицах своих не чувствуют детских ног —
каждый привыкает к чему-то
до смерти.
и я привык.

Тарас Трофимов

ЖИВОПИСЕЦ

† † †

— Он умер вчера.
— Как, позавчера?
— Нет, ошибаешься, умер вчера
И просил, чтобы ты
Его пощадила.
— Я не поняла.
— Позвонил перед тем, как умер. Он умер вчера.
Говорил, что ему надоело,
Просил, чтобы ты его пощадила.
— Оспади боже! За что?
Я бы радостно всех пощадила. За что?
— Он мне тоже сказал,
Что ты будешь спрашивать «ну почему?»
А потом он сказал, —
Ты знаешь, он умер вчера, —
Что щадят ни за что
И топят щенят ни за что.
Просто одно происходит из жалости,
Всё остальное — так просто.
Ведь это так просто.
И всё было просто вчера.

† † †

Все болты, все рельсы
Дрожат предутренней дрожью
Когда самый скорый из скорых
Спешит по делам
та-дам, та-га-дам

«Ой, это же самый скорый из скорых!» —
 Девчонка из дома обходчика вlepится в окна,
 Потом побежит к зеркалам
та-дам, та-га-дам
 Почему зеркала занавешены?
 Вдруг остановится скорый
 И выйдут мужчины —
 Военные, аристократы,
 Пришита губа к мундштуку —
 А я не накрашена!
туу, та-га-дам-ту-туу
 Срывает с зеркала чёрное,
 Тут же и мать:
 Угомонись ради бога, маленькая,
 Девять дней как ты в самом скором из скорых,
 А всё ещё ждёшь. Что тут ждать?
 Девять дней, как тебя
 Обступает всё высшее общество мира:
 Раздробленные офицеры,
 Отравленные банкиры,
 Пришита губа к мундштуку.
 Не жди самый скорый из скорых
та-дам, та-га-дам
 Ты уже едешь
ту-туу

✦ ✦ ✦

Живописец. Писец как живо,
 Натягивая шкуру дня,
 Ты акробатом спецпошива
 Разыгрываешь для меня

Две роли в рамках шкуры влажной,
 Две боли от бровей до рук,
 И кое-что, уже не важно,
 Где бился влажный гулкий стук.

Поднатяни страстей картину,
 Приподними всё полотно,
 Добавь бубенчиков старинных —
 И будет самое оно.

Павел Демидов

БОГ ОГОРОДОВ

† † †

День ещё только ногу в сапог а трамвай
 Украл тишину и бежит — гога-магога
 Такие брат кружева по утрам что невольню
 Приснится поле и в поле косоворотка
 И непроходимые заросли Иван-чая.

† † †

В городе душ толчея
 Сплав жилого и нежилого
 Сумма плеч чресел речей суматоха чад.
 Мера воды — хрусталь на витрине
 Мера же пыли — дома́ с непечатым уютом
 Восставшие словно хлебные корки
 Со дна морского
 В ожидании Ромула или Рема.

† † †

У кошки всегда вторник
 И наш календарь для неё ничего не значит
 Серебряная рыбёшка
 Резиновый мячик прыгающий как оранжевый воробей
 Всё на что можно прилечь (стол, колени)
 Шкафа приветливый полумрак
 Всё это вторник
 И когда она потягивается проснувшись
 Мы должны хором произносить вслед за ней
 — «Ах, уже вторник...»

✚ ✚ ✚

В садах украдкой падают плоды —
 В клетчатку упакованные соки.
 Смотри — под каждым деревом следы,
 На каждом блюде — артишоки.

В садах нечаяных я кубарем влеком
 Расколотым орехом приземлиться.
 Природа, ты гордишься чесноком —
 Есть чем гордиться.

✚ ✚ ✚

За городом где бог огородов птицей
 Перелетает с холма на холм
 Невзрачные гнёзда мастерит земля
 Среди лавандышей и подорожников
 Бродят вечера богатые летом и молоком
 И я там стою во весь рост
 Но заломив шапку.

ДУША

То барщина то праздник то прочие напасти
 Душа чтоб не пылилась разобрана на части
 Лежит себе на полке в коробочке в мешочке
 Как старая картошка — пускает корешочки.

То пляшется, то чешется, то поутру неможется
 Потом за душу схватишься — она в одно не сложится.
 На шкафчике, на полочке, лежит и не мешается
 Раздал бы по кусочкам, да жена не соглашается.

✚ ✚ ✚

День с тяжёлым будничным камнем во рту
 Но со светлым взглядом воскресным.
 Череда частей речи кухонные пересуды...
 Вы долговязые предки мои землемеры
 Чей день начинался
 С пения кузнечика разбуженного

В свекольной ботве —
Горше чая с листвою прошлогодней
Каравай настоящего.
Выпросите у бога и для меня клочок
Облака, лебедей ковать.

✚ ✚ ✚

Слышишь как бездна поёт?
Заслушаешься
Всеми ангелами поёт
Рокотами всех крыльев
В трубу бессонниц играет бог
Заслушаешься
Большеротый бог
Бубнами всех смертей и праздников
Поёт и словно не может остановиться
Словно у бога нет часов — поёт
И не может остановиться
Так ребёнок плачет и
Не может остановиться.

Александр Самарцев

ПОСЛЕДНЕЕ КАСАНИЕ

КУСТ У ПЛАТФОРМЫ

Готика стрижена — жёстко стоит облепиха,
 как усыпленный будильник, скрестя веера.
 Бюргерству здесь пересадка — и тихо
 в спину уставилось, — ей распрямиться пора
 или рассыпчато, будто комету штампая,
 лёгких навыворот ужас творенья объять.
 Перед вагонами два заискрили шампура,
 — из оцепления: «Что, мол, замешкался, бать?»
 Точечной родины гетто запуталось датой,
 фильтры наушников, как недовернутый кран,
 ягодой, ягодой капают по виноватой,
 родственной линии с баннером «но пасаран».
 Осень цветёт, как спидометр или суббота,
 как магазины до двух, а потом тишина,
 разве что колокол кирхи взлетит из расчёта
 куст в перепонках царапнуть улыбкой зерна.
 Не было жизни прозрачнее, как ни стыдишься,
 «не было!» я погружаю в её «никогда»
 омут, стригучую сталь — пожелтелая льдышка
 тянет искру, но слабы отпускать провода.

СКВОЗЬ ГОРОД

Товарный потянулся, заскрипел
 как стрелы в нескончаемом гомере,
 а монастырь холма, а серый-серый сквер
 ему объятий эхом наревели.
 На этих эллинов есть Германн и Муму,
 есть мотылёк, чихающий мотором,
 и площадь, где я пеналь не возьму,

но протараню дриблингом топорным
 под ледоход и шорох Би-Би-Си
 портфелей драку, матюгальник с хмелем,
 всяк, всяк слепец, перевирая небеси,
 как с лирой филармония, подбелен.
 Ударные грохочут, как бельё,
 мотаемые пó ветру морозом,
 сочится нефть, надежда на неё
 сожмёт объект, а он и не опознан.
 Дым от «бычков» сбил дембельный прицел,
 вдали откос кладбищенский талдычит,
 бетоном холост, оцинкован, смел,
 и заманиху жрёт на опохмел,
 пока гомер повзводно не прозрел
 с никем не читанных табличек.

✦ ✦ ✦

Алёше П.

Этот ракурс не скажешь широк
 я родня ему боком отец как-никак
 по касательной чирк зажигалка
 грыз сжимал звуковые пружины
 вырастают
 и вся незадача
 не мешать детям драйву
 правильное капризное важнейшее из искусств
 требует плачет
 лопну черешенкой в глаз
 а недолюбленный под микроскопом подросток
 ненабеган до бочки таинственных лапок на даче детсада и вот
 с таким же кудрявым в круизе идём лицеистом охотясь и возрасты смяты
 приладив прощанью
 окуляр лужниковский

 ему не напылен ещё козырёк
 от заград-рифмы пасть на её амбразуру
 теснотища касаний вьётся ленточкою матросской
 крепче лиан и узлов к центру цветка

некоторые цветы дикие в шубе навынос как микрофон
 вздутая пагода и трещотка
 люпин астромерия самый обыкновенный камыш
 мы не стали добрей в этих дебрях
 в этом зачёте на зрение палеонтологического прораба

на игру в черепах Луна-парка и приливные велорули
 засуху приподымая как веки фантомной Москве
 крест за плечом всё равно
 по дуге по мосту передвинут один и другой несинхронно
 пока хватит настырности шила и сердца желательно двух
 антрацита по склонам
 нарастает двойная петля похорон слухов о похоронах

был человек носил в себе взрыв и его же откат
 с перерывом на более-менее сон я забит новостями отстойного сайта
 мартиролог в свободном снижении по убывающей
 Аксёнов Зыкина Джексон Майкл Межиров Сева Некрасов
 беременная сбита ментом на «зебре»
 взорванные менты

с нижней ступеньки этой верёвочной лестницы
 ты и разбрасываешь черешенки
 вспых да вспых межнебесная степь
 швов изжога шлейф глин и лопат
 недоношенных где-то драконьих осколков
 гостя-мякоть черешенка ищет где б ей
 свой же ракурс переформатировать
 и привиться родству поминальному пиррову
 как там звали успеи

ОЗЕРО

В салюте око ярое созрело
 над горизонтом замерцал курок
 с озёрных бликов будто бы прицела
 да не опустит Бог

Красно любое слово на закате
 всё потому что лишнее оно
 последнего касания не хватит
 ушедшего как дно

Ольга Дернова

ТРИ ВРЕМЕНИ

† † †

В аптечке поля пусто. Прикасаясь
к замочку пальцем, чувствуешь: внутри
трава дрожит и прячется, как заяц,
в свои землянки, норки, пузыри.
Кого спугнёшь там — зайца или беса,
когда, на шаг опережая тьму,
несёшься из-под капельницы леса
наперерез неврозу своему?

ЛЫЖНИКИ

Себя мы не чувствуем лишними,
пока ещё пару минут
заметно, как зычные лыжники
по зыбкой опушке бегут.
Склоняются, будто покаялись,
а дальше скользят налегке
сквозь этот погибельный кариес
на правом сугробном клыке.
Деревья гудят, как болельщики:
спортсмены в замшелую пасть
уходят по самые плечики,
и облаку негде упасть.

ЛЕТО

Кроме солнечного ветра, тебе подсолнух
ничего в своём динамике не оставил.

Да трещит кузнечик голеньями в кальсонах,
как апостол Павел.

Кроме солнечного ветра и кроме шума,
ничего не прорывается сквозь динамик.
И поля тебя окутывают, как шуба
с орденами.

Наподобие поверженного атлета,
ты лежишь, в неутешительных мыслях роясь.
И кузнечики в тебя опускают лето,
как монету в прорезь.

✦ ✦ ✦

Три времени: листьев, снега и невпопада.
Три волоса: серый, белый и золотой.
К четвёртому притрагиваться не надо.
Сказали — стой.
Ещё в неубитых мы числимся пехотинцах,
за нами холмы плечисты и лес рукаст.
И ясно горит в глазах, словарях и птицах —
любовный порох,
древесный уголь,
болотный газ.

✦ ✦ ✦

Ветвящуюся плеть на краешек трубы
закинь и дотянись стручковыми устами.
Мы съели бы тебя, но ангелами бы,
наверное, не стали.
Поэтому играй. Я колышек вобью.
Карабкайся наверх по солнечным кувалдам.
По паспорту ты жил не ниже, чем в раю.
Я б тоже побывал там.
Я тоже прорасту сквозь влажную постель,
и выучу слова, и правила усвою.

Неси меня наверх, архангел Бондюэль,
держа над головою.

† † †

И ты входишь в тот фонд, как будто в железный лес,
где висят семена заглавий, уму темно в них,
так что, будучи пойманным, каждый бес
умоляет: не бросай меня в тот терновник;
так что каждый факир, на лоб натянув колпак,
уходя, говорит: это место свято.
И, вися на бумажных, длинных его шипах,
канарейкой щебечет лампа дневного света.

Евгения Изварина

НА СОЛНЕЧНЫХ ЧАСАХ ВСЕГДА ДВЕНАДЦАТЬ

† † †

Любимое на доли не деля,
в неоперённые ключицы
короткая волна небытия
к нам круглосуточно стучится.

И кажется: чуть дольше продержись
в обиженных и непохожих —
забудут всех,
и только нашу жизнь
на длинную волну положат.

† † †

на солнечных часах всегда двенадцать
куда ни поверни твоя стезя
живого не положено бояться
а мёртвого пока ещё нельзя

акула древнерусская белуга
плавник лопатой в принципе любой
вот так и стой в зените полукруга
когда проломит воду над тобой

научись не лёгкими а кровью
дышать как рыба падать на весы
и будущего прошлого герою
подарят настоящие часы

† † †

С. Слепухину

простое имя диких ос
необязательно какое
никто тебя не произнёс

но школьник азбуку откроет
узнать названия столиц
причастия и переносы

а там между пустых страниц
песок и осы

† † †

Вы пребывали в чёрном теле,
теперь вы в белом, но — ином,

и говорите не по теме,
как с человеком — метроном
и с ангелом — автоответчик,

и если даже казначей
из вас наделает колечек,
то — для потерянных ключей...

СВОБОДА

Не подходите к ней с расспросами...

А. Блок

Сама себя переупрямила,
остепениться не умея.

Вражды и жажды равноправие
и полюбовное похмелье
кому — кольцо, а ей — околица:

выходит к ужину с вещами,
здоровается и знакомится —
напрашиваясь на прощанье...

✦ ✦ ✦

опять разбей хрусталь о клюв утиный
и осень до отлёта повтори
она мне волосы накрыла паутиной
шла посуху а дождь внутри

но только ты и можешь это
не важно вспоминаешь или нет
под плёнкой порыжевшего планшета
есть линза воздуха необратимых лет

Татьяна Щербина

АТОНАЛЬНЫЙ ПЛАЧ НАД ГРОБОМ ВЕКА

2009-й

Пока доллар не грянет,
евро не перекрестится,
сорван вентиль в Иране,
северокорейская окоlesiца
переносится как свинаячый грипп,
небесные колесницы RIP.
Слишком часто: «покойся с миром» —
стали мой вздох и всхлип.
Ирак оголился. Знаем, что он не дама,
но панцирь прилипший
как платье сорвал Обама.
В чёрном теле с прорезями для глаз
держат женщин — Майкл Джексон
принял ислам как раз,
умер отбеленным и искромсанным.
В нулевых — удалённые даты,
искромётными были восьмидесятые,
теперь Мэдоффу-моське-мошеннику
полтораcта лет жизни назначил суд,
дав по ошейнику.
А исламские провода ползут,
подключаясь к приборам.
Мир не знает, в котором
вместо сердца — жуть,
мегагерц стучит мегабайт в секунду,
не даёт уснуть.

АНАТОМИЧЕСКОЕ

Русские анатомически отличаются
от других народов.

Вместо сердца негодовательная железа
качает кровь из оббитых колен
в возмущённый разум.
Вместо мозгов — декодер:
важная информация шифруется как пурга,
он её считывает разом,
ему что правда, что ложь,
но за конспирологическую железу не трожь:
выделяет секрет, отпугивающий врага,
перегар, сиречь железы внутренней секреции
преобразуют спирт в желчь, желчь в речь,
её коротит железа
предстательная перед священным.
Почему железа? Мы железные потому что,
но у нас есть органы, просто органы,
не ваше дело, чем они занимаются.

✚ ✚ ✚

Такое впечатление про воздух,
весенний, с жёлтым бочком —
саднящее, будто он поцарапан,
как коленка в детстве,
целлулоидная плёнка с призраками.
Что-то недосовершилось,
молекулы бродят выжидающе,
пинают пивные банки,
толкают в метро,
сёстры злобность и тупость
набухают, не лопаясь.
Газированный воздух
щёлкает пузырьками
телефонных сот, глазков видеокамер,
бензоловых колец с отливом —
кристаллическую решётку перекосило,
и воздух заклинило,
хоть этого и не видно,
но как-то всё наперекосяк.

✚ ✚ ✚

Воздуха нет — это моё дыхание,
заполняющее собой
щели в городе: между домами,
шкафами, винтажными кренделями,

мистически размножающаяся материя —
из любого угла толпой
надвигаются книжки, кру́жки,
флэшки, наушники, друг на дружке,
окаменевшие горечи, остекленевший елей,
океаном надаренные ракушки.
Тараканы пропали — бессмертные вещи
опустились до мизерных их щелей
и повыдернули окаянных, как клещи.

У подножия океана
дыхание огибает редкую здесь предметность:
буйки, маяки, пляжный этнос —
модели людей, в них подышишь, рот в рот —
запульсирует альтер-эго,
и модель оживёт. Но недолго
быть им одушевлёнными мной — телега
или там пароход
их увозит на склад, туда им дорога,
где они хранятся. Дыханию одиноко,
затаилось, будто его не любят, — ветер,
воздух зашевелился и стал заметен.
Волны гарцуют, показывают крупы, зубы
оскалены — оседлать как виндсерф,
запихнуть океаний нерв
пенными языками обратно,
в плоский экран,
сжав дыхание до причастия,
удержать наводнение части
речи, сжимающейся в стихотворение.

О КНИГАХ

Книги — боги, как взрослые,
только обнимают целиком,
заглатывая внутрь, —
приёмные родители,
это они соблазнили меня
присоединиться к истории он-лайн.

История располагалась на далёком
необитаемом острове,
и вот ухти-тухти, и винни-пух,
и карлсон-вентилятор,
в синем небе звёзды блещут,
в синем море волны плещут,

бочка по морю плывёт,
а в ней политзэк Гвидон —
это моя популяция,
моя племенная наколка.

С каждой книжкой
экзотический остров
плодился и размножился.
По ступенькам букв,
на самокате слов,
со списком кораблей,
с песнями чаек,
под конвоем щучек,
по их велению,
по моему хотению
я добралась до суши,
где возмужавшие книги
стали прелюбодеями на ночь
и гаремом навсегда.

Как они превратились в беспризорных детей,
которые подлетают на улице
и просят милостыню?
Да это просто животные,
забираются в дом,
ложатся друг на друга штабелями,
каждый день приводят собратьев.
Убивать их как насекомых
пока не поднимается рука.

АТОНАЛЬНЫЙ ПЛАЧ НАД ГРОБОМ ВЕКА

Век двадцатый, первый без молитв,
сам-творец и сам собой разобран,
атомы пластмассовы, no problem,
это лего, а не монолит.

Суть в конструкции — во рву некошеном
всё лежит и смотрит как живая,
на экране, записью скрывая
трын-траву от пристального коршуна.

И тогда кирдык спешит на помощь,
чтоб на дыбе не держали в коме —
выполвшую себя из комьев
глины — душу, но она не овощ

и не век, в его рубцах и стразах
от ранений, вольных и невольных,
в клиниках пластических и в войнах,
но такая ж — в синяках и язвах,

и пока пыльцой с небес отмеренной —
глаз павлиний, махаон, капуста —
не присыплется, не зарубцуется, —
жить душе в родимом красном тереме.

Очень странный инструмент кирдык,
кажется похожим на косу
горизонта, солнце — на весу,
там орбита, мы живём впритык.

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

Бог дал моря, леса —
человек сделал корабль, лодку,
белые паруса.

Бог дал речку, берег,
первый дом сложил —
человек в пещере
свет зажёл, обжил:
разрисовал графитом
и кармином свод.

И кувшин с корытом,
и водопровод
изобрёл великий
Чел — всё по уму,
но на самом пике
угодил в тюрьму.

Он торчит в ловушке:
жить нельзя в собой
созданной игрушке,
нужен мир другой,
потому Бог создал
не себе, а нам
этот вот, подзвёздный.

Он следит, он там,
он ещё поможет,
но уже не так,
как когда дал дождик
ну и — свой контакт.

П Е Р Е В Е С Т И Д Ы Х А Н И Е

Проза на грани стиха

Андрей Сен-Сеньков

СОЗВЕЗДИЯ: АСТРОФИЛИЯ НЕИЗЛЕЧИМА

ВОЛК. LUPUS

волк серая ресница слепого леса если животное сможет угадать
из какого мокрого зелёного глаза она упадёт исполнится любое желание
даже не превратиться в домашнюю собаку

МИКРОСКОП. MICROSCOPIUM

лаборант смотрит в микроскоп там маленькие и живые жёлтые домики мочи
большая деревенька воспалённой сорокалетней женщины врач пи-
шет в заключении те кто там живёт заболели человеком

КОМПАС. PYXIS

нельзя так с географией все северные царапины стрелки компаса оде-
ты в белые магнитные шубки в каждой шубке два запрещённых кар-
мана для замёрзших кулачков запада и востока согреются *потом*
юг справедливо ломает им указательные пальцы

АНДРОМЕДА. ANDROMEDA

приковавшая сама себя к скале андромеда с нетерпением ждёт морское
чудовище много лет она представляла его себе высокое голубо-
глазое может быть даже вокалист подводного бойз-бэнда вот оно
андромеда разочарована обычный мальчик у неё таких сотни *все*
мы были обычными мальчиками во время публичных казней в афганистане?

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА. URSA MAJOR

созвездие похожее на скамейку с надписью осторожно окрашено сохнет
долго пачкает новенькие крылья пролетающих мимо покойников *ТОТ*

*кто её покрасил больше ни на что другое не хочет смотреть тем более туда
где мы*

ФЕНИКС. PHOENIX

птица тлеющей сигареты без фильтра взмахивает затяжками и согнувшись
замирает в пепельнице откладывать серые яйца *к счастью она*
не поймёт зачем у птенцов будет такая походка

МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА. URSA MINOR

маленький ковшик гигиеническая ванночка для выросших девочек *тёп-*
лая жидкость не вода *неродившегося* тщательно протирают поло-
тенцем *его ещё на целый месяц стало здесь меньше*

МАЛЫЙ КОНЬ. EQUULEUS

помните был мультфильм с песенкой про то что у пони длинная чёлка *тогда*
мой шестилетний брат специально отрастил такую же *ему нравилось*
походить на маленькую лошадку *сейчас у него уже второй*
курс химиотерапии *волос нет совсем* *на каширке много*
тех для кого вместо четырёх коней апокалипсиса — пони

МУХА. MUSCA

муха не получившаяся белая птица задержавшаяся в duty-free эволюции по-
лётов *полные кармашки чёрных монет* *на таможне отнимут*
лишние лапки *почему такие широкие взлётные полосы в аэропорту*
крошечной хищной птицы?

ЗОЛОТАЯ РЫБА. DORADO

золотая рыбка исполнившая все три желания всё прекрасно понимает как
всегда ждёт четвертое пятое ладно лишь бы отпустили не поджарили не съе-
ли *четвёртое желание чувствует её страх решает помочь надо*
просто исполниться наполовину *стихотворение захлоп-*
нулось и тихо поёт внутри себя старую виниловую песенку аллы пугачёвой

ВЕСЫ. LIBRA

венки искусственных цветов на дорожных столбах для разбившихся автомо-
билистов как чашечки аптечных весов *очень точное взвешивание*

нельзя ошибиться всё-таки смерть *здесь сдача после*
оплаты красиво сыплется с превышением скорости

ЗАЯЦ. LEPUS

моя одноклассница кроль сидела на одну парту ближе к доске чем зайцев-
ский или наоборот уже плохо помню заяц отличается от кролика
тем что рождается с открытыми глазами или наоборот всё время путаю
*эта асимметрия давит и её достаточно чтобы общее потомство в обоих слу-
чаях было невозможно*

ЖИРАФ. CAMELOPARDIS

когда сбежавший из зоопарка жираф видит что-нибудь более пятнистое он
кричит на ноте «ля» на той же ноте что гудят клаксоны американских машин
мягко останавливающихся внутри сбитых животных пешеходов *моргаю-
щие колёсики умирающих ресниц жирафа катятся по воздуху на все четыре
кислородные стороны*

ТЕЛЕЦ. TAURUS

Егору Летову

на сленге джазменов южных штатов труба будет chorreg это нож для раздел-
ки туш крупных животных *труба режет человека*
музыканта на печальные пластинки диаметром с рукоятку горла

РАЙСКАЯ ПТИЦА. APUS

на земле притворяется самой бескрылой самой некрасивой с голым хвостом
с умным взглядом крысой в зоопарке до смешного полным разноцветных
зверей а потом её кормят отравой и она взлетает высоко
откуда облака только кажутся *похожие облака есть в грузинском
фильме в том где песня про птичку-невеличку*

ВОДОЛЕЙ. AQUARIUS

Володе Никритину

совсем человек на платформе метро льёт на пол содержимое жестяной банки
начинает по ней по пустой стучать один звук похож на джин другой
на тоник потом снова джин потом снова тоник

*можжевеловый вовка стучит в очаковский барабанчик у выхода с последней
капли метро*

ИНДЕЕЦ. INDUS

умирающий от испанской пули индеец шепчет богам зачем так? мы вас любили вы были для нас как битлз как кто? не понимают боги
в школе на уроке испанского мальчик маккартни невнимательно там откуда
жизнь наползает на смерть

ЗМЕЯ. SERPENS

кьяра знакомится со св. франциском знает что он любит всякую живность
этих рыбок птичек предлагает стать змейкой обвивающей линии жизни на его
ладонях франциск чтобы как-то разрядить обстановку делает
вид что моет руки замечает что его ладони совершенно гладкие на них нет ни-
каких линий они уползли они уже рядом
с кьярой

ГОНЧИЕ ПСЫ. CANIS VENATICI

две собачонки летят в космос сами по себе летят быстро торопятся под
песенку «нас не догонят» мальчик гагарин подрастает
красивей всех постепенно юля и лена перестают ему сниться вместо
них — белка и стрелка

СЕВЕРНАЯ КОРОНА. CORONA BOREALIS

в храме трёх святителей венчаются двое не знают что они брат и сестра
свадебный венец висит в воздухе и медленно летит к куполу сработала
встроенная в православные программы таинств «защита от дурака»
перезагрузка первой брачной ночи продлится до конца их бедненькой жизни

ЖИВОПИСЕЦ. PICTOR

карлик лотрек завистливо зарисовывает танец валентина бескостного
косяника это такая ягода круглая точилка для болезни лотрека с двумя по-
догнутыми карандашиками ног

ЯЩЕРИЦА. LACERTA

tea in the sahara поёт стинг ящерица сухой земноводный ножик
останавливается в сердцебиении песка с лезвия капает пустыня

ЛИРА. LYRA

уничтожитель роялей новая очень востребованная в москве профессия
 большая проблема большого города избавиться от большого инструмента
 специальный человек приходит в дом и расчлняет давно ненужный рояль
*со временем на его месте появляется диван красный плюшевый протез ампу-
 тированной в рассрочку музыки*

ГОЛУБЬ. COLUMBA

общезитие на окраине маленького городка двести метров до го-
 родской свалки начинается ураган за окном радостно
 летают сотни целлофановых пакетов сотни мусорных использованных голу-
 бей без крыльев остановившиеся в развитии лёгкие стеклá прозрачные
 фотографии пельменей

ВОЗНИЧИЙ. AURIGA

на вопрос что вы чувствуете при скорости 350 км/ч гонщик отвечает это как
 стоять на месте стоять на месте с большой скоростью автомобиль
 движется не потому что автомобиль а из-за того что стоять на месте больно
*не понимает пока бог медленно бросает в лицо обезболивающие зо-
 лотые медальки*

НАСОС. ANTLIA

специалисты компании sun rubber в 1942 году разработали детский противо-
 газ с лицом микки мауса чтобы американским детям нравилась
 весёлая игра в мультипликационные отравляющие газы во
 второй мировой химической мышеловке у получающихся мышат серая рези-
 новая шерсть

БЛИЗНЕЦЫ. GEMINI

все звуки записанные на магнитофон и запущенные задом наперёд будут
 звучать иначе все кроме человеческого смеха кроме
 близнецов кроме внутриматочного палиндрома девятимесячного зеркала в
 обе околородные стороны

ТЕЛЕСКОП. TELESCOPIUM

когда-то слава курицын рассказывал о свалке глобусов соседствующей с
 фабрикой где эти глобусы изготавливались о прижизненном

*аде круглой географии где копии нашей не получившейся планеты перекаты-
вались на грязных животиках*

БОЛЬШОЙ ПЁС. CANIS MAJOR

вчера в космос полетел сергей волков первый в истории космонавт сын кос-
монавта любой большой собаке приятно обманывать себя что
родители были волки спасаясь от голода волчица хочет
подкинуть волчонка людям может там ему будет интересней выжить *не*
донесёт серый кусочек нашей дымящейся космонавтики

ДЕВА. VIRGO

во время одноактной жизни женщины сидящие в зрительном зале становятся
красивей *коричневое зеркальце коньяка не трескается*
*на глотки в антракте не отвлекает от станиславского косметического ремон-
та смерти*

ЛЕТУЧАЯ РЫБА. VOLANS

летучая рыба поднимается в воздух только от ужаса перед морскими хищни-
ками *серебряная солёная скрипка покидает музыку туда*
*где ей нужно быть проглоченной другим либо подводным либо надводным му-
зыкальным инструментом*

МАЛЫЙ ЛЕВ И МАЛЫЙ ПЁС. LEO MINOR ET CANIS MINOR

мама качает на руках больного ребёнка приговаривает «у кошки заболи у со-
баки заболи а у сыночка моего заживи и жирком заплыви» *малень-*
кие домашние животные изранены и сильно похудели рассыпаны по углам
там живые таблетки вылезают из шкурок

ПЕРСЕЙ. PERSEUS

в кукольном театре премьера спектакля о подвигах персея *прокрустово*
ложе крошечное меньше колыбельки не поместится даже недоношенный
режиссёра спектакля дома ждёт беременная жена с двумя почти целыми
детьми складным ножиком тельца ребёнка можно порезать распадающую-
юся семью на ещё розовые обручальные колечки

ПЕЧЬ. FORMAX

нагревается лампочка будет поджаривать летние насекомые пирожки
*на запаянном в стекло электрическом стуле уже неподвижно сидит преступ-
ная гусеница сейчас казнят до самой бабочки*

ХАМЕЛЕОН. CHAMAELON

автор заводного апельсина как-то заметил что русское «хорошо» похоже на
английское «horror show» русское слово-хамелеон выражающее похвалу
угрозу согласие иронию неподвижно слово заведётся только ключиком
английского перевода висящим на шее этого стихотворения

ЦЕНТАВР. CENTAURUS

развиваясь человеческий эмбрион повторяет все ходы эволюции на одном
из этапов он похож на кентавра эмбрион решает кем стать
дальше *как правило выбирает нас отрезая лишние ноги полосками теста
на беременность древней грецией*

ЛЕВ. LEO

автобиография льва толстого он ещё маленький он ищет в лесу несущую
всем счастье волшебную «зелёную палочку» найдёт бесконечный
писательский карандаш *деревянную добрую сальмонеллу делающую
всем хорошо назло антибиотику сжатой детской ладони*

ЖЕРТВЕННИК. ARA

обиженный ребёнок сидит на полу в ванной думает закрою глаза сделаю
всем вам темно тогда узнаете закрывает на земле становится
по-настоящему темно *все движутся наощупь обжигаясь об его закрытые
карие солнца*

СКОРПИОН. SCORPIUS

арабский кошмар: из хвоста жёлтой бутылочки скорпиона капля горького ли-
кёра попадает мимо пустыни в дыхательное горлышко паховой ранки

СТРЕЛА. SAGITTA

на стрелке у одного из бандитов случается нервный срыв он хохочет не может остановиться *в подкожно-жировом мешочке смеха визжат убитые они вдруг увидели себя в чужом желудочном зеркале*

ОРЁЛ. AQUILA

eagles кусочки расколовшейся пластинки чёрные виниловые крылья не взлетают расплозаются по квартире ищут тело спрашивают кошку «хочешь ангелом?» кошка верит в ангелов они приносят детей *слепых удобных не умеющих сопротивляться одинаково вкусных мышей и котят*

КИТ. CETUS

иона осматривается внутри кита здесь тепло немного пахнет рыбой но зато приятный приглушённый звук моря к тому же *в прогулочном млекопитающем кораблике под кожей одноместного номера мебель там нагишом*

ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ. COMA BERENICES

в рекламных роликах женщины часто выглядят с грязными волосами интересней чем после шампуней особенно женщины с зелёными глазами *в их мокрой траве мокнут чёрные тувельки зрачков с подвёрнутыми до сетчатки каблучками*

РЫБЫ. PISCES

в красном море живут рыбы-ангелы мокрые падшие ангелы большую часть жизни лежат на дне тяжёлые счастливые и малоподвижные притворяются обиженными богом но когда им встречаются русские поклонники дайвинга они закрывают глаза и открывают рты задыхаясь кричат от страха *думают всё теперь всё нас заберут жить в москве-реке*

Д Ы Ш А Т Ь

СТИХИ

Антонина Семенец

СКОРОСТЬ ДАРВИНА

✚ ✚ ✚

Развив скорость Дарвина
 Старушки сплетничали о:
 В рыбе видели источник всего звука
 Она летала и переходила
 Звуковой барьер старая труха
 Я переводила бабушку через дорогу
 Она всё говорила
 Как провожала кого-то на тот свет:
 Замесила тестом чужие тени
 Грудь падала молоком в кофе
 Чудо переносится как болезнь
 От всей души — пришла
 В твою головку через ушко:
 Две ракушки, а внутри — море

✚ ✚ ✚

В нас остаются цвета,
 Ничуть не лучшие и возбуждённые,
 Но спокойно ленивые и лживые
 Забежавшие тестом из
 Форм Бога и членов его семьи —
 Нам останутся деревья в форме креста —
 Люди, вытравленные из дома
 Витрувианским человеком,
 Которые думают этим деревом
 Не любят полуфабрикаты и одиночество
 И друзья чувствуют в них опору

Бросаясь под поезд
Они только безжалостно ломают
Детскую железную дорогу

✚ ✚ ✚

Сложить в кулак и просунуть —
Чулки-сороходы заштопать
Просить подставляя шею
Прямо в лапку от машинки
Для стрижки гусиных тёзок
Можно ли столько — перерезать в ряд?
Пожалуйста: Только одну
Замочную скважину выделай мне
Оставь одну пóру расширенной
Такую, чтоб в неё можно было вкручивать
Когда ГОРЬКО-ГОРЬКО
Оторванную ампулу лампу ничего
Лучше бы купил себе
Пару пятаков с душой для тебя
Моя единственная крошка,
Я так боюсь её потерять
Ведь у меня сегодня есть
Перочинный ножик
Чтоб вас стало много

✚ ✚ ✚

Только клеим клевер под губами —
Я всегда употреблял его на 1-е сентября
Вместе с букетом
Под подбородок
Когда развязались шнурки
Кактус в попу вмазать вернее или
Шило пробить целлофановый кулёк
За воротник — тоже прятал
А то отберут
Дай-ка руку руку, чччччтоб поболтать
о чём-то

+ + +

Кукушка скрученная из
Носового платка вылетает
Из твоего пупка и отсчитывает
Города, в которых не сможешь
Ни умереть, ни жить, ни родиться.
(Так страшно понимать:
Внутри — нечеловеческая схема).
А из пуповины, я знаю,
Свяжешь кофточку
Своей кукле
Морскими узлами.

+ + +

Как простишься скажешь сказочку
Что ничего не работает а оно
Подействует через час когда
Самолёт летит вокруг
Моего дома чтоб пассажирам
Никогда больше ничего
Не снилось когда он
Пойдёт налево я заведу песнь
Колыбельную: Дурак не проснётся
Никогда

Ирина Шостаковская

МОИ НАСТОЯЩИЕ ПОДРУГИ

✚ ✚ ✚

Словно Смерть он видел в окне
А она ему говорила: вымри
И снова сделал глоток железа, читай: саргассы
И снова они в какую-то
Чепуху
Вцепились

В этой жизни нет ничего проще
(проще)
Чем
Или сложнее чем

✚ ✚ ✚

Ждешь о пыльной железной дороге
Нереалист
На границе существа с веществом
Напиши, как сезонные рабочие <гестарбайтеры>
Ревнивыми глазами смотрят на тебя,
Пьющего (-ю) кофе со сгущёнкой по 7 рублей,
Который принадлежит им
По праву

<напиши как убил человека в живом журнале (например)
Эмигранты живут на своей стороне, смотрят небо
Приснилась живая бабушка>

† † †

...и небо песочного подлого цвета тоже приснилось,
и говорю: навряд ли что-то со мной случилось,
знаешь,
как третья рука
прорастает... — А как? — Молчи...

† † †

теряешь сознание
боженька медленно смотрит на тебя с потолка
опечатка: «тройной». Только что звонил приятелю одному,
похожему на символ веры и не помню ещё куда.
— со ртом у тебя чего? — ничего, гнида, — ...и как за чужую, за
собственную свободу,
как за чужое,
за собственное лицо.

† † †

...удивительный и вздрагивающий,
идёт, как в гору, к ней
— *дай мне сигарету мудила зачем тебе сигарета*

† † †

сесть рядом с маицей отдать тебя другому
затем, что ты был создан для другого
вернуть картинку, задохнуться в торжестве
и думать о тебе как о тебе
и думать о тебе как обо мне
я всё прощу, смотри в мои глаза
держишь за ручку, крылья отлетают
мои любые
недоступна: любовь, смерть
понимаешь, у меня их было очень много
и все до одной — мои *настоящие* подружки
все совершенно разные
белые, как вода
чёрные, как стекло
синие, как смерть

СПАСИБО

Говорит из какого
нет из какой
растут не ведая
жизнь темна
сплюнь себе в ~~лице~~ воду
не реагируй
настоящие новые друзья
Я знала женщину по имени Елена
что мне с елены вашей имени помимо
что мне с тебя, прекрасная елена
что мне, помилуй боженька, с себя
Едешь в метро, бесцельный, как знамя
Союза.

Наталья Азарова

ЯБЛОЧНЫЙ КРАБ

✚ ✚ ✚

скажи мне вещь внутри коробки
 скажи снаружи
 сказанное положи
 вовнутрь
 яблочный краб в цвету
 тут говорилась скорлупой
 погода розовая мякоть кабачка
 тревожная

✚ ✚ ✚

спелось не спелось
 неспелое слепком
 слепком нелепым
 вплавь

море исполосовано солнцем
 мы перекрасили волосы вовсе

и на море белизны навели
 белизну охраняют военные корабли

около окон блока
 мысли от влаги окольны
 вьются голые локоны
 их полные флокны на облаках

слепота летняя
 её мокрую стряхиваем и скалываем
 и отправляемся
 на сухопутную охоту

+ + +

купальщица круглоликая
моя лукавая луковая

ту-голую отверни-от меня руку-с-палкой
жёлтый гной отколи-от

моей бездонной купальни
так твои горы и воды полны
пупырышки яшмы плавают

по нашему океану пешего полушария

+ + +

мой Бог, на Ты к глубине не обращайся
не воруй глубину у корабликов
Ты лучше
мой Бог, не будь у подручного моря Сушей
но Ты и внимания на меня не обращаешь
как будто мне некому на Тебя пожаловаться

+ + +

он был безмерно озарён
но принял меру
кактус правил
точность птицы во льду
как тут важнее дырка чем фигура
разделённое чертами поле
земля внутри натянутого лука
это граница
в него вцепились пальцы панацей

не до умение стоит пере до мной
недоумею
неново громко соло пело птиц
спокойное вдвоём на одинокой ветке
орнамент письменная нитка
к нам в комнату вошло два-три ребёнка
по времени рождение снизу смерти
заранее не знаешь родом ты откуда
поэтому

+ + +

когда моисей ходил по бульвару ротшильда
по улицам поэтов габироля и галеви
Бог говорил с моисеем моисей говорил
с габиролем габироль говорил с ротшильдом
ротшильд говорил с Богом об этом
почти сказал но не успел галеви
тонны струйных стволов потекли
под увитой виноградом смоковницей то под оливой
то под хвойным бананом кардиограммы кипарисов

как тусовка цветущая

так заметными цыпками
проходит идея немимо

+ + +

поговорили про прагу
всё стало отдельно
земля-от
детской площадки

впрямь что-то привяло
а что-то приватно
облака́-от
голубых промежутков

хотелось ответно
а зазвучало
влтавьей
нищенкой-речью

продолговато
горлицей-сидеть на памятнике
порциями
приговор

бомбочки в теле
оставляют аккуратную боль
бомбовые ящики
тщательные на балкончике

+ + +

неба и озера
событие произошло
низа и верха

лето и осень
настали одновременно
но не могут
тугим узлом

жёлтое рождалось похожее на жёлтое
разжижающийся
абрикос

это стало такое не-только

берег не претендует на предел-и
не превращается-в противоположность

мы забыли — мы знали
это земля — это небо

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

погодой домотканой
отделена-от
прошлого

на севере полнеба-облако
се-вернее освещение
вернее читались иероглифы
кóлокола клок
сообщал как
заглянуть в навеки
в дионисийском исполнено
терракотой
феррапонтово
рождение
моё
ровно

здесь осень сезон для мысли
её крохкая масса
и новые боссы бессмертия рослые паутины

голоса так и приспособливаются к

отрываю
погоды
домотканой

Павел Жагун

РАССКАЖИ МНЕ СВОЙ СОН

✚ ✚ ✚

их белые лошади падали от усталости
вопреки босоногим подросткам
сличавшим луну и глину

бормотание мёртвых молитв распыляло надежду на помощь

каждое слово скрывает в себе другое
по форме похожее на апельсин
с чёрными мышцами веры

несёшь
обжигая ладони по берегу озера
прячешь от редких прохожих
в пустых переулках ведущих к центру полярной звезды
утопающей в тлеющих маках

подари мне сухое молчанье осы
или зарево загнанной лани
на самом краю венценосного сна

без конца и начала

где теплится
знак возвращения

и солнечный ливень
встречает бездомных

забытых

на каждом шагу
каменистого дна

† † †

зверь огнедышащий
теннисный мячик
вернись на тропу распыляющих прах междометий

я из бумаги построю город
все улицы по направлению к небу

тишайшую женщину с перебинтованным ликом
узнаю по дыханию вербы —
пояс украшен дорожной пылью

крохотный аист из льда

возложи свои маленькие ладони
на могилу зимы
распуши тайный шёпот последней ночи
о тысячах ласточек Брайля

о мокрых каштанах
бросающих тени вдогонку
во тьме полустанков

где наши слова все — синонимы

гореть нам извечно
бенгальским огнём
рассыпая в сугробы колючие искры

не давая малейшего шанса
друг другу

погаснуть

† † †

1.

знание в серой коробке
из-под ботинок сестры

немея

твид разрисован кровью

две одинаковых ноты
христианство и христианство

метросексуалы группами входят в раж

милый пьеро
родовая травма

марш дровосеков вырастает веткой
слова о поэзии так же по кругу хотят о поэзии только словами

драники с маком

нерождённый герой
видит сон о себе —

святую розетку
дядюшки Пэдро

2.

отфильтрованы возгласы резвых убийц

чёрным по белому
сон колоколен

штаны космонавта сжигают в спецкамере после каждого взлёта

приклеить безвкусную жвачку под стул
назавтра

обрети меня время
я лагерный кокон

бетономешалку соседям к ночи
две кнопки

кадык и айвенго

3.

вор ходит по воздуху
пережидая шаги

разрисованный ветер в ушах
зажигалка

ночь обращается к нам затылком
мы чувствуем семя в себе
звукоряд
обречённый подсолнух

отворяй ворота безбровый
нам нечего больше сказать о матросах

горами спят
после баньки
опившись квасу

а дети их ждут
притворясь океаном

✦ ✦ ✦

исчезая меняешь имя
в глубине океана
бирюзовым цветком опечатанных окон окрестных домов

приближение осени призрачной крыльев шмеля
застеклённых часов
на руке загоревшего сына

сепия спален

медленный свет багровеет
пыльцой на иголках прибрежных сосен

островерхая кирха архангела духа
охра хурмы в полумраке прохладных комнат —
твои неприметные точки опоры

я знаю когда мы теряем свои настоящие лица
среди облетающих листьев письма
среди всех фотографий пустынного неба

неразборчивых детских каракулей
адресованных смытому ливнями серому дню
что бродил с нами в мокрой траве

в неотступной надежде

узнать нашу тайну

† † †

безветренный день — чёрный смерч наизнанку
ирис в петлице света

стой на высоком холме обозначив север
человек на ладони — твой брат по крови
обогрей его
дай для забавы ресницу мариин —
свечение рыбы порвавшей леску

пока повивальные бабы
задуют звёзды

ртутью по сколу скользящий сокол —
расскажи мне свой сон
сын Бога

Василий Ломакин

НЕЖНАЯ МОРЯ

✦ ✦ ✦

1

нежная моря, простой иван
есть пожар и дыру взятия

белую мать слюна, честный златой москве
русский князь, смешная мать

страны их есть красные мёртвой римской страной
горе и дар пылька короче умру

предмет фигура внутренностей страны
ряды семени железных

звезда сердца я имею князь
милую пыль сейчас
я жидкой табак

2

златой предмет серебряные сыны
говорят крутят серые жилища
про военную кровь лесов

весны большого аттиса
кому бежит убить позор
глядит спешит звезда

детству роза любви
колечки железу
гроб родная вертит

будет клевер алый
острые лица
боль как идеальный дар

салюты тихие тайные
петроград садик северной

3

петроград есть альбом лилии
и бежит большого существа
глаз стоит знакомыми
злым орёл проспект желез
менадке шипы тайные
цветами весны истории
будет въёт в лесу рвёт
роза аттиса забава
мама лира чёрная
играет тихий сын
возникает быстрый смех
период пустой лета
смеётся роза железная
начинается сладкая звезда
любовь давай покров
знавшей землю дороге
острые соски и шишки

4

при глаз копьём видели
ленинград златой лица

сердца плянется роза москве корона
поднимет соски

пылька волос открывается сынке
ночь не в дар двуглавый мать

крутят весны уже петрограда ряды
масти ментов русских золото серые злые

OSSA ARIDA

Пыль, пылька при дороге собирает клевер крошечный
Писи тихие желёз

Листья серые подорожника, винограды внутренностей
Это есть предмет для слёз!

Ходит пылька при дороге, собирает позвонки
Составляет мёртвые мослы
«Будут добрые сыны»
Это есть предмет тоски!

Вдоль по этой дороге длинной, от самого сердца
Вертится быстрый крест пыльный, но Гимнаст захочет ли вертеться
Быстрым смерчиком в розетке моей северной страны
Бог рвёт злой знак
О, это есть крепкий табак!

✚ ✚ ✚

Всё, что я говорю — давно
Похищено у смерти

Ногами, сунутыми под сукно
Русской Православной Церкви

Руками, ловящими немое кино
Во внутреннем небе московского метро

Где ангел, пересекающий мой ум
Превращается в точку, свиреп и угрюм

✚ ✚ ✚

Рядами покрашенные салюты
Уязвляю копьемом
Сифилисом бляя базиллионами клио
Ряды ленинграда

Закончен детству дар сейчас
Счастье горе любви простой первому
Разгораются себя боишься какая
Проваливаются красные

Архетипов тел эвтерпа
Пробивая на рот взятия петрограда
Трижды мне фашистов станет
Плюну за девочкой

Окна генерала стучат мужиков
 Мочи алый что не серебрятся
 Аттиса рвёт ненаглядные крови
 Марии жидкой армии

Пилой играли свастику
 Римский петроград наполеону
 Берегу есть пейте существа
 Ввести большого

Вот изъятия мои исходу живого
 Бает сатанинской иван
 Свет правому прольётся
 Я хам русской, они матери такое

Красное такая хоть
 Обратных знамянуя двумя
 Кто голубое и вы ещё что
 Царстве лет июля

Вручает морем ясной страны
 Власть рвутся морем новым
 Бежит небо спешит мама
 Гений россии оставляя

Синеют железных печать
 Сладковатая гостья до июля моря
 Черёд собака по-ненашему молясь
 Рукой свастики умру что покрова прозрачный

Плоти марии кустики страшной тайные
 Их ударь Агнца перьями
 Зеркале землю убираются в мертвой
 Смываются загробного

Страной врага океяна
 То будет позор
 Родная будущих лета скажет

Новым твёрдый пустой знак
 Как приснилось честный думает
 Приличными станет кричит

И собой сейчас подземные короче
 Москве кампаний смех как любимого зиллионы
 Прийти спасении девчонок

✚ ✚ ✚

Если истеблишмент меня печатает
Значит я пишу недостаточно радикально:
Строчит пулемётчик, и мне дельфийские
Змеясь приличными ресантиманами
Лавры Эвтерпа на волос нести изволят

П Е Р Е В Е С Т И Д Ы Х А Н И Е

Проза на грани стиха

Сергей Соловьёв

АДАМ. ФРАГМЕНТ

Бросили спальник в тени домика на траву, легли, животом прижалась. Что это, Зоя, вместо нарцисса ты выткала розу? Что у тебя в голове? Это ты говоришь, водишь пальцем по моей груди. А я отвечаю, тихо, в твою макушку: не знаю, как это случилось, окно было высоко. Да, говоришь, это во-первых. Теперь про бедного абиссинца. Раз услышал бедный абиссинец, что далеко, на севере, в Каире занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги. А ему давно надоели жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные подёнщицы Каффы. И отправился бедный абиссинец через горы, леса и степи на своём единственном муле... На муле? Да, на муле. Интересно, этого я не помню. А слон откуда? Слон-монах, весь в веригах, или это песок так пересыпался через него? Слон-песок был, а мула не было. Ты ж не дослушал. Там с ним много всего происходило по дороге, его обокрали, побили, он убил четверых и скрылся, а в густых лесах Сенаара слон-отшельник растоптал его мула. Двадцать раз обновлялся месяц, пока он дошёл до Каира, и вспомнил, что у него нет денег, и пошёл назад той же дорогой. Ах вот оно что, растоптал мула. Это во-вторых. С третьим хуже. Два путника их было, один в халате, малосимпатичный, с жёлтым лицом и глазами гадюки, а второй — настоящий герой, путешественник и, может, даже поэт. И этот, второй, всё про высокие материи толковал, про подвиги, про доблести, а тот, первый, всё про рис да чай. Ну и когда пришла пора расставаться, тот, в халате, говорит, всё, пора — тебе подвиги совершать, а мне идти своей дорогой, сеять свой рис и чай. И сел на камень и запел. И что-то такое было в его пении, отчего светлел воздух. Он и оказался Буддой. Кажется. Что значит — кажется? Оказался или нет? Да, но я не уверена. Действительно хуже. А четвёртое? Про сестёр. Семь сестёр? Ассам, Мизорам, Нагаленд... Нет, четыре сестры, четыре сестры нас было. Все мы четыре любили, но все мы имели разные потому что. Одна любила, потому что муж её был знаменитый художник, вторая любила, потому что муж её был богатый, третья любила, потому что... Да, с третьим у тебя как-то не складывается. А ты? А я любила, потому что полюбила. Да, и ожиданья у вас были разные, и представленья о жизни... Слушай. Надавливаешь пальцем на эту подвздошную ямочку. Четыре сестры нас было. Все мы четыре разлюбили, но по разным причинам. Одна разлюбила, потому что муж её разорился. Вторая — потому что муж её умер... А я разлюбила, потому что разлюбила. Четыре. А может, нас было пять?

Сидят на забинтованных деревьях, в даль всматриваются. А под ними эти всего ничего ходят, вверх поглядывают — скоро ли. Потому что всё готово давно, и дело только

за ним, Шилораем. У старосты ключ на поясе, каждое утро он отпирает домик, где ночевал король, поправляет постель, распахивает окна, наливает свежую воду в кувшин, а всего ничего тем временем доят деревья, на верхушках которых сидят, как отлитые в золоте, маленькие обезьяны. Сидят, замерев, или соскальзывают меж ветвей, нитями перепутываясь, как брелоки. Посещение запрещено, и тем более с камерой. Кем, спрашиваем. Староста подымает глаза к небу и описывает довольно большую дугу. Да, думаю, бумага здесь не пройдёт, по дуге судя. Поговорили на пальцах, приглядываясь друг к другу, взгляд смягчился, ведёт к домику короля, хорошее имя у него, шило в раю, у окна постояли, листая воздух.

Лесничество, в полчасе от городка. Блокпосты, шлагбаумы, полуобрушенные мосты через канавы, топи. Едут, как повезёт. Реже — идут пешком, перешагивая проломы, и на той стороне ждут водителя. Два автобуса на мосту играют в шахматы. Пока один рокируется с Шилораем, другой конём ходит, огибая чёрные дыры. Другой это наш. А мог бы слона выдвинуть, да не имеется.

Подшли к переезду, а из будки стрелочника, необитаемой, человек с бородой выходит. Короткий болоньевый плащок на нём, энтээровский. А под ним ничего, босые ноги. Стоит леденец грызёт. И так рьяно, будто там не один, а все тридцать два, и не леденца, а зуба. И у меня леденец во рту, тоже грызу, но поспокойней. А где тут лавка, спрашиваю, и — хрум леденцом. Лавка? — задумывается и — хрум-хрум-хрум. Да, говорю, лавка, хлеб купить. Хрум. Хлеб? Хрум-хрум-хрум. И нет его.

Та каучуконосная роща похожа на лазарет, забинтованные стволы в компрессах, надрезах. Бывшие угожья ассамского короля Шилорая. Жители, а их осталось всего ничего, уже не первую сотню лет хранят ему верность, ожидая его возвращения в новой аватаре. И золотые лангуры сидят на деревьях и тоже, похоже, ждут. Два места, где они остались с людьми, лангуры. На острове Умананды и здесь.

Брахма привёз нас сюда, но даже ему, Брахме, вход в эту местность заказан. Кто б мог подумать — Брахма! Странно, у индусов почти нет ему храмов, молитв, всё достаётся Шиве, Вишну, Кришне. Даже Ганеше, слонику-чудотворцу, и то пантеон любви народной. А к Брахме тропа пустынная. Может, потому и пустынная, что к Творцу? Творцу мира. И учеников не было у него, что в индийском космосе почти приговор. Ни учеников, ни детей, ни связей с общественностью. Ты царь, живи один. Так и живёт, в сознание любого индуса, — Творцом, Брахмой, о котором не говорят, — ни прямой, ни обратной связи.

Брахма привёз нас, мистер Брахма из племени бодо. А работает помощником мадам Гхош, редкий случай женщины в должности главного егеря края. Из Ришикеша она, там родилась, бегала в лес на ту сторону Ганга, школа, потом академия егерей в Дерадуне и назначение сюда, в Кокрадхар. Муж живёт в Дели. «Бегала в лес» — похоже, гипербола. Сидим в её доме, разговариваем, чай с печенцем. Она, её сестра, болливудская дива из Гувахати, и Брахма. Просим её взять ружьё для снимка. Берёт — то дулом в висок Брахме, то прикладом в шею сестре, вертит, переворачивает, видно, впервые в руках держит. Брахма берёт у неё, отставляет в угол, утирает пот платком. Сестра глазами играет, губы подкрашивая.

Заговорили о случаях. Леопард, в дальней деревне, недавно. Похоже на ту историю, джалдапарскую, с мелкими расхождениями. Например, полторы тысячи человек об-

ступили развалины дома, где он затаился. Ружья, мотыги, прожектора, ночь. Прыжок — и полковник полиции без лица, вспахан с кровью. Доля секунды, никто и понять не успел, что это было. И полковник стоит как стоял, не дошло ещё, и вдруг оседает, как будто из пыли весь.

Одно удовольствие тебя слушать, ничего общего с тем, что она рассказывала. Как ничего — а леопард, полковник, прыжок?

А по дорогам всё едут и едут — лесники, полицейские, чиновники из министерств, дни идут, крестьяне говорят — если к этой ночи его не поймаете, сами его забьём мотыгами. А он к тому времени уже к ручью перебрался, а как — никто не заметил, сутки ещё те пустые развалины осаждали. А потом мальчик приходит, говорит: он на ручье, — и ведёт их. Заросли, топь, не подступишься.

Переглядываются с Брахмой. Ну и чем кончилось, спрашиваем. Пожимает плечом: исчез. А может, — смеётся Брахма, и тогда глаза его совсем исчезают, — ни к какому ручью он и не уходил.

Ну да, конечно, леопард переходит к ручью, оставаясь в развалинах, мёртвые души горят, ненаписанные, пропадает гора, стопятидесятиметровая, человек возникает на ровном месте, егерь грах покачивается меж мирами, в чём моя вина, говорит, лёгкий поворот руля, миг невнимательности капитана, и вот я здесь... Понимаю, кивает бургомистр ривы, понимаю. А ты говоришь: бублик, индия, марко поло... Лёгкий поворот руля — вот оно, наше всё. И кроме него — ничего нет. Служил егерем, сидел в засаде, писал первый том, стрелял, сорвался, истекал кровью в каком-то ущелье, в долине дагестана, был егерем, а теперь кто, — плыву в этой барке, ни мёртв, ни жив, и ровно в полдень, когда бьют склянки, она просовывает мне в окошко еду... Понимаю, говорит бургомистр, понимаю. Маленький кутёнок шакала на разъезжающихся лапах выглянул из-за двери. Потыкал вслепую воздух носом и ретировался. Мадам Гхош взяла его из ветлечебницы, домик соседний с нашим. Повар поймал в лесу.

Повар... Всякий раз к тебе оборачиваюсь, чтоб напомнила его имя. Шудра. Нет, в шудрах ещё есть место достоинству или хотя бы чувство места и времени. А в нём — всё из мыла сделано, из намыленного тряпья, и руки по сторонам, чтоб его полоскать и выкручивать. Чуть подсохнет, и уже бежит, воровато пригнувшись: чего изволите? Тряпичный повар, хохочущий Брахма в тюленьем костюме с выныривающей из него головой и светская егерица Гхош. В лесничество Брахма и Гхош наезжают редко, лишь с делегациями. А живут в спальном пригороде Кокраджара. Но повар всегда на связи, его глаз повсюду. Глаз, и эта челночная мятущаяся походка, как бы пяточкой метёт за собой, след замечает. И чуть что — к телефону, Гхош докладывает: мол, русские в лес пошли, в сторону вырубок, на холмы. И бежит за нами, метёт пятками запятые, липнет, кроит гримасы: нельзя, джунгли, Гхош, очень опасно. Вьётся, застит, пока на него не крикнешь, отпрянет и снова — воздух обнюхивает, льнёт, потряхивает головой.

Нельзя за порог. Страшные звери, которых давно уже нет здесь. И мирные люди, в списках убитых, пропавших, истерзанных. И блокпосты, и вымершая дорога в Кокраджар, уже неделю как перекрытая. А мы что видим? Тишь, лес, детей и коз на дороге. Три домика в лесничестве: в одном мы, в другом повар и управляющий, молодой парень в шлеме, на мотоцикле, так мы его и помним — въехал, выехал, а в лесничестве нет его, и третий домик, пустующий, — ветлечебница. Доктор навещается сюда раз в месяц, а то и в два. Голый пол, стены, павлин расхаживает, прихрамывая. Вдоль плинтуса, по пери-

метру, а потом ляжет в углу, втянет голову и задёрнет глаз. А днём — на траве у дома, растёт шейей, осматривает с высоты владенья, как Тамерлан, и в тень уходит, опираясь на незримый костылик.

В горку, всё круче, сквозь вязкие заросли, прижимались к деревьям перевести дух. Прислушивались, лангуров искали, в этом лесу они должны быть, маленький заповедник, полугоры-полухолмы. Но чем дальше в лес, тем меньше надежд. Что-то странное происходило с пространством, с чувством пространства, оно как бы выворачивалось, теснило, будто рубаха навыворот или задом наперёд, и повсюду вырубки, вырубки, обгорелые корни, стволы, тлеющие лоскутья земли и какие-то недостроенные заимки, засады лесорубов, их огромные логова, как для великанов, и вдруг брошенные на полпути, и где — в самых неподходящих местах: в расщелинах, топях, или обугленными пятернями вцепившиеся в косматые кручи. Повсюду, с маниакальным рвением. Кто они, эти обезумевшие циклопы, охотившиеся на деревья? Никакой логики, исступленье — крушить, жечь, резать, пилить, валить всё, что видят, и дальше идти — рысью, россыпью, с пеной во рту и с заволочённым глазом. Дальше, не подбирая, будто цель их не древесина, а — что? И зачем эти логова? Сколько нужно усилий, чтобы все эти доски сюда заволочь, брёвна тесать, вися на круче или по грудь в болоте? И, не достроив, бросить. И начать новое, в ещё худшем месте. Тишь в лесу, ни птиц, ни зверей. Заповедник. Только чей, кого? Лишь бабочки кружат. Как маленькие ожоги. Отшелушённые от деревьев.

А потом, когда спустились с холмов, возвращаясь, помнишь, эта лесная женщина из дерева вышла с секирой, смотрит на нас маленькими сизовато-мутными ягодами голубики, рот беззубый древесный шевелится, провожает нас. Адиваси, говоришь, отойдя. Да, бихарские адиваси. Для индусов они — как для нас цыгане. Но без песен и лошадей. Лес, землянки, костры. А потом эти солнечные полянки в зарослях, рисовые, приутопленные, ничьи. А на одной из них ворота стоят футбольные, односторонние. Для кого? Ни троп, ни селений.

А потом солнце приблизилось вдруг, в глазах плывёт от жары, дышать нечем, помнишь, стали, думали подраздеться, а у ног две бабочки, светло-оранжевые, как те абажуры — маленькие, вдалеке, в детстве. Присел, смотрю: любятся, вначале одна на другой — дрожат крыльями, усиками заплетаются, а потом развернулись пяточками друг к другу и сблизилась... да, как мы — в доме, в милом доме, тогда... И как-то оно само собой так случилось, смотрим на них и снимаем с себя всё лишнее, смотрим, подрагивая, сближаясь, и солнце прямо над нами, а мы над ними, на расстояние дыханья, и не взлетают они, дрожат, выгибаются, замирают, медленно-медленно, как и мы. А потом так неловко вдруг стало, входили в одежду, как будто в чужую, брошенную на дороге, и отводили глаза — и от неё, и от леса, и вот ведь что — даже от них, всё ещё там трепетавших в траве. Молча шли и понять не могли, что случилось. Вроде всё так светло, так чудесно, так просто, но что-то там ныло и тмилось внутри, в сердцевине этого света и чуда и простоты. Невыразимое, бессловесное и, если приблизить глаза, — жуткое, как те лица у бабочек, помнишь, если приблизить их на экране.

Озерцо по пути к деревне. День кругом, а там тьма всегда. Тьма, не деревья же. Или воздух такой — густой, тёмный. А ночью? Наоборот? Может, сходим? Светляки плывут вдоль дороги волнами, тепло, горячо, холодно.

Да, говорю, озеро в виде тонкого серпика, лес за ним кочубеевский, дни за днями, но однажды с ним случается необычайное. Он видит во сне годовалую девочку, на неё указывает ему Богородица. Потом, в доме своих друзей, он узнаёт эту девочку и чувствует, что уже не сможет отвести глаз от неё, никогда. Смотрит и смотрит, годы идут. Нет сомнений, что это его судьба, он даже видит будущего их ребёнка. Ещё в ту, первую встречу, видел. Ждёт, пока она подрастёт. Спрашивает: любит ли она его. Да, отвечает девочка, как всех людей. Четырнадцать ей. Венчаются. Брак не сулит ему никаких выгод. Кроме счастья. Её фамилия — Лизогуб. Рождается сын, за ним второй, погодок. Идут в школу, в один класс. Младший внезапно умирает, сгорает в горячке. Старшему — одиннадцать. Переходит в гимназию. Пишет «Две рыбки», и больше о брате ни слова, до конца дней. Берёт псевдоним: 0000. Обводит мелом. Жжёт. Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слёзы рекой льются и сам не знаю отчего, — говорит Пигалица, Мёртвая Мысль, Таинственный Карла, — как зовут неопушённого гусяного Го-голя его одноклассники по Нежинской гимназии — Кукольник, Данилевский, Прокопович... Он уворачивается, шипя, глотая слёзы, идёт на рынок, утоляет горечь сушёными вишнями и грушевым квасом. Возвращается, рисует природу, без людей. В эту пору по одну сторону от него — смерть «папеньки», в беседке уединеннага размышления, по другую — виселицы декабристов. В стихах совершенствуйся, а прозой не пиши, — наставляет его знакомый грек. Бродит по улицам, один, и вдруг замирает в измороси оцепененья — того самого, которому будет искать слова всю свою жизнь. Этот демон следует за ним, как шаровая молния, то приближаясь и задувая глаза, то отдаляясь. Как воздушные ямы между жизнью и смертью, в которые вдруг среди дня соскальзывает всё его существо, и на поверхности остаётся лишь оболочка, сухая, хитиновая, с белым, как помертневшая маска, лицом. Эти мгновенья тихого надмирного ужаса идут за ним по пятам — от Нежина до ногтя, вросшего в крышку гроба.

Конечно, никакой связи. Просто совпало так. Как всё на свете. Поздним вечером в приоткрытое окно влетел вестник. Бархатный тёмно-коричневый камзол, большие иссиня-чёрные глаза на чуть обтрёпанных крыльях величиной с распахнутые ладони. Он плавно кружил над нами, казалось, в каком-то трансе, выписывая замысловатый вензель, и, наконец, сел на стену в световом пятне высоко под сводом. Когда он сводил крылья, глаза совмещались, становясь единым. Бог смотрит на тебя тем же глазом, что и ты на него. Кто это — Экхарт?

Странное слово «мотылёк». Климатическая ошибка языка. Они ведь у нас маленькие, эфемерные. А в этом вестнике мог бы целый народ разместиться — северный, в пласточках ситцевых. Да и бабочка — тоже странное имя. Вряд ли она откликнулась — та, райская, первая, на эту бабушку бочки.

Взял в ладони, а он не трепещет — будто во сне одеяльце подтягивает из ветхого пламени. Грамотка выцветшая полустёртая. Отразившая писаря, приблизившего к ней глаза. Вынесли за порог, открыл ладони, не улетает. Тьма, не вижу его, только кожей чувствую, перебирает их там, на слух, линия сердца, ума, жизни. Подбрасываю, не отпускает. Отнесли к дереву, пересадили. Такая покорность в нём внимательная, напряжённая, будто запись идёт, будто всему, что я делаю, он говорит: не я так хочу, но ты. А потом, когда опустили ладони, — будто это не я, а он меня прислонил к стволу и ушёл в дом, прикрыв за собой дверь.

Утром нас навестил лесник с сыном. Как-то им удалось лесами-полями объехать карантинную дорогу со всеми её блокпостами. Старенький облущенный амбассадор, дверцы не закрываются, битое лобовое. Лесник в аккуратно выглаженной, со стрелочками на рукавах, трикотажной кофте мокро-песочного цвета и неизменной форменной пилотке со скрещёнными шлагами — с презрением к огнестрельному оружию, как на лермонтовском знамени. Маленькие круглые очки, чуть склонённая к плечу голова с мягким предсумеречным светом. Новые, до блеска начищенные туфли, которым, видно, не первый десяток лет. Ты набросила на себя шаль, редкого здесь, сдержанно-билибинского орнамента, лунная приозёрная зелень, подарок его жены, тихой, едва проступающей из многослойно-прозрачного фона в таких же, как у него, маленьких круглых очках. Сын, очень прямо глядящий, но не навязчиво. С очень красивым, каких здесь не встретишь, лицом, но той красоты, которой нет дела до своих черт. Твёрдое, мыслящее, как земля, и летучее пыльное одновременно. Как то знамя в руке у последнего воина — с презрением к огнестрельному.

Лесник ведёт вдоль полок. Достоевский, Чехов, Толстой. Русская, ближняя. А там мировая. Много книг по истории, это сын читает. А мне и этих хватает. Снимает очки, задумывается, долго мусолит их, протирая. Честь, говорит, тихо, куда-то вниз. Честь — вот и вся родина. Понимаете? Гха, откашливается смущённо. Честь — вот и весь бог.

А леопард? Вот уж где подстерёг — на ровном месте. В Алипудвар едем. Шофёр как памятник, только руль шевелится и курятся палочки над иконками Джаганната, а это ведь что — Вишну, в знаменателе у Джаганната, всё никак не могли мы понять, куда след ведёт, а тышла, но люди к Шиве тянутся, а почему? К диалектике? Разрушение, созидание. А Вишну целен, непротиворечив. Как день седьмой. А Брахма — до. А Шива — после. После — ближе. Втроём на заднем сидим, ты с Руми перешёптываешься, в Бенгалии женщина — религия, а беременная — свята, коснуться её — благодать, а обидеть — не расхлебать карму.

Пуджу делали в доме у Дэби, семья лесника пришла, мы в стороне, мужчины, а женщины тебя усадили, умачивают, наряжают, цветы, молочко, сласти, тихонько поют, общёптывают, а потом ведут — мать-старуху, под руки, седовласую, а она никогда ни на кого не смотрит, даже если смотреть некуда, хоть шеренгой стань перед ней, найдёт какую-то щель взгляда и воткнётся туда, как нож под мышку, как нож-градусник. Ведут, и она по пути нож втыкает — косо, в сторону, воткнёт, вынет, будто она не ноги переставляет, а этот нож по воздуху. Великая мать, Дхарма-Матри. Веды говорят: есть реальность Дитя и реальность Мать. Первая нам дана при жизни, вторая — лишь после смерти. А они одно, неразрывное — Дхарма-Матри-Путра. Великая мать, говорит Дэби, совсем дитя. И вот её подводят к тебе, и она руку кладёт на твой лоб, и стоит, как-то вбок наклоняясь, босая, в лохмах седых, как косой свет из облака. А женщины вдруг вспевают — горлицами, тёплым грудным воркотом, на повышенье голоса, и взметают цветы, и трепещут вослед ладонями, будто в комнате тысячи голубей. А мать вынимает нож откуда-то из стены над тобой, и задувает его выдохом, и опускает взгляд на тебя, ясный и молодой, доля секунды, и снова нож — где-то под потолком.

Сворачиваем на просёлочную. Где-то здесь не то чтобы заповедник, но и не зоопарк, а как бы, говорит Дэби, санаторий... Высовывается из окна, спрашивает людей, запряжённых в телеги, те указывают в разные стороны.

Нашли, совсем на отшибе. Посетителей нет почти, два-три, может, служители, сидят на пригорке, в затон смотрят, челны в тине у берега, нет, крокодилы, уют чухонца. Трактор проехал, облако вывез тёмно-жёлтое, отцепил у забора. Павлины, орлы. Кролики почему-то. Один — ошалевший от чтения, глаза красные, ушами водит. Жара, ни капли воды в вольерах, марево. Олени плывут на месте, как те, в пустыне, головы поднимают, ждут чуда. За ними сетка, за ней — да, леопарды.

Много, около десяти. Ходят — взад-вперёд, подбородок к земле, снизу глядят, в никуда, снизу. Ни камня, ни деревца, ни пяди тени, и ни души кругом. Дай-ка камеру, я попробую. Прижал к сетке, пятно, расфокус, и вдруг — удар, отбросило, опускаю камеру, чувствую: кровь течёт, заливаает, нос разбит. Смотрю на них — ходят как и ходили, в трёх метрах, разворот и назад, опустив голову.

Сэр? Оборачиваюсь. Рука над калиткой, пузырёк протягивает. Смотритель. Вчера, говорит, женщина взялась за сетку, обернулась к мужу, и двух пальцев нет. Лейте прямо на нос, хорошо смачивайте. У меня прилила, у тебя отхлынула.

Быстрее мысли, шепчешь, быстрее зренья. Вот он шёл, я же видела — там, и головы не поднял, и не взглянул в твою сторону, — просто был и нет, где стоял, выбыл вдруг и вернулся в свои очертанья прежде, чем глаз успеваает заметить этот разрыв. Я же как раз на него смотрела, взгляда не отводила. Не было ни прыжка, ни удара лапой. Эта bestия быстрее времени.

Отъехали к первой харчевне, сели, лёд попросил, ты яичницу, Дэби пиво безалкогольное, а Руми всё покачивала головой. А потом, к ночи, вернулись, и в прихожей у них — тот же взгляд, снизу, чуть ощеренный, над иконками Джаганната. Слева — школа, справа — муж и жена, трёхметровые кобры, вдаль глядят, раскачиваясь над лопухами. А меж ними — мы, на той необъятной кровати, где над тобой голуби ворковали, спим.

Как же мы попали сюда, как давно это было? Местный поезд из Гувахати, медленный, медленнее, чем растут деревья. Люди на крышах, как в войну. Задача из индийской физики: сколько человек поместится в одном купе плацкарты? В нашем я насчитал двадцать семь. Правда, с детьми. У тебя на руках двое, и у меня один. У тебя индусы, мальчик и девочка, а у меня мусульманин, кормишь их мандаринами, поровну. Мохаммед спит на плече у Рама, длинная мёрзлая борода, как прошлогодний снег в ущельице между ними. Голова соскальзывает, но возвращается прежде, чем... Как там про Магомета с кувшином? В Коране, кстати, сказано: Бога люби и бессловесных тварей. У индусов об этом — само собой. А вот в евангелиях — что-то не помню. Странно всё это. Мусульмане индусов веками резали, жгли их дома, книги, руки заламывали, куски говядины в рот запихивали: миг — и всё, нет индуса, погран, и назад пути нет, ни покаянья, ни отпущенья грехов, уже мусульманин. А тут — ночь, поезд пригородный, едут, едят, спят друг на друге, одной семьёй, и у окна Мохаммед, Рам и Джон-Иоанн из племени бодо, обращённый миссионерами в обмен на тёплую куртку, — один на троих сон смотрят.

Лакшми, они тебя называют, Руми и Дэби. А лесник зовёт доченькой. К ночи вернулись. Слева — дети, справа — змеиный сад. А меж ними — мы, вниз лицом, спим.

Помнишь? Сбежали в Дарджилинг. Горы, снега, тишь. Маленький заоблачный зоопарк. Красная панда, медленный лори, и... Вот он, замер, в глаза смотрит, в упор.

Белая бездна недвижно глядящих в тебя зрачков. В тебя, двуногого, жалкого, обёрнутого в тряпье. Что ему до тебя? Он и глядит оттуда, из царства смерти, из белизны, из колеса превращений, талый дымчатый снег. Вот зачем, оказалось, сюда мы ехали. Снежный барс.

Но нет, это было не всё. Чуть дальше, почти в тупике, на краю парка. Ухоженный императорский дворик вольера. Вглядывались, пытаюсь его обнаружить. Увидеть того, кого человеку нельзя видеть. Как Бога во сне. И знать, ещё там, не очнувшись, что это отнимется у тебя, как только проснёшься: сполох — и пустота.

Он стоял в глубине вольера за стволом дерева, неподвижно. Да, сказала, ослепительным женихом он был, любимым, но потом с ним что-то случилось, и никто не знал, что, и сам он не помнил, и так он проводил дни, годы, обхватив голову руками, пытаюсь вспомнить, старея, и она выплакала глаза и ушла в монастырь.

Что-то случилось — с ним, стоящим за деревом, с нами, с миром. Он, император небес, скрывал себя, ютясь за стволом дерева, так, чтобы нам видна была лишь его тень, тень, а не лицо, которое он и на воле никогда не являл глазающей черни. Он, тайна тайн, стоял, униженный и ужатый до размеров птицы, на тонких соломенных ножках, в шёлковом, расшитом золотом и серебром халате, жвав маленькую голову с мерцающей короной в сутулые нахохленные плечи. А она, серая императрица, простоволосая, подёргивала головой, заборматываясь, и всё ходила из угла в угол, по-куриному подбирая ноги, лишь искоса, на повороте, взглядывая в ту сторону, где стоял он, к ней спиной. Королевский мохан — значилось на указателе. Ночь на Купала. Да, говорю, ослепительным женихом он был.

Разблокировали. Надолго ли? Проскочили. Повар, пригнувшись, звонит мадам: приехали. У ветеринарного домика мотоцикл, дверь распахнута. Павлин на лужайке, взволнован. Вошли. На голом полу питон лежит, дитя. Лежит — неверное слово. Не то что лежать, даже в конвульсиях дёргаться — и то не может. Куски кровавые, лохмотья, выкатанные в грязи. Только глаза глядят и будто лопатой срезанный рот сипло дышит, скошенный набок. Только всего и осталось в живых у него — эта раскроенная голова с беленьким вскрытым мозгом и маленький локоток шеи, за которым — недорубленные куски, нитки, ворвань кожи. Смотрит и дышит, шевеля шеей, будто голову хочет втянуть в плечи и не может. Лопатами его забивали. Дети? Нет, похоже. Там, за холмами, в той деревушке, куда нас мадам возила. Озеро показать, гнездовье. Озера не оказалось. Матрац, отороченный лесом. А посреди — подсохшая лужа. И на краю матраца — две фигурки, сидят, прижавшись друг к другу, молодожёны. Лопатами. Скошенный, чуть приоткрытый рот, воздух сочится, тоненький, сиплый, последний. Как из спущенного колеса. А в углу — корм для павлина, — стоит у крыльца, выглядывает из-за наших спин.

Шли, дорога пустынная, вновь перекрыли, что ли. Шли, и этот питон всё стоял в глазах, дышал в эту скошенную гармошечку. Что ж они доктора не вызовут? Усыпить надо бы, зачем эта мука. Да, лица у них с печатью. Как проклятые. У ядовитых не так, даже красивые по-своему. А тут — как сагомом отдалены, тухлый взгляд и губа эта заячья... Душат. А что ещё остаётся, когда руки отобраны. Что-то в этом отринутое, выроненное, без вины виноватое. И могилы нет. Паганини скользил год за годом от могилы к могиле, как пустой рукав, тих, подоткнут.

Да, неясно с дорогой. Видно, опять застрянем. Михайловское. Карантин. Мальчики, перестрелки. Народ безмолвствует. По водам ходит, рис растит. Интересно, чем бы всё это кончилось, если б Павел дошёл до Индии. Отряд казаков послал авангардом, те до Оренбурга дошли, да? А потом что? Что-то ему помешало? Передумал? Надо бы почитать. Это ему Наполеонова слава спать не давала, тот тоже поход готовил. А ему кто являлся во сне? Александр? Как мне с тобой поступить, спрашивает Македонский индийского царя. По-царски, отвечает пленник. И он его отпускает, оставляя царём, и уходит с завоеванных территорий. А тот голый йогин, Калан, встреченный им в лесу у большого пылающего костра, — обернулся к царю, два года, говорит, есть у тебя, и шагнул в огонь, и спокойно стоял там, обугливаясь, пока не осел. Ровно через два Александр умер. Атлас, назывался тот вестник. Атлас. Лесник сказал.

Лет десять тому назад, да? Когда сбежали со свадьбы. Бхубан вывел нас задним двором. Но перед этим — несколько вспышек во тьме, на память, а там — машина в кустах, ты легла на колени мне, глаза закрыла, а мы с Бхубаном репетировали всю дорогу, как ему говорить с министром. Включил лампочку, конспектирует, бьётся о потолок, а машина взлетает, мечется, проваливаясь, — то земля под ней, то вода, то небо.

У тебя тогда ещё короткая стрижка была, каре, годы нэпа, чтоб с мундштучком, на отвод руки, да? Чёрное облегающее и открытая шея, чтобы долго-долго взглядом по ней восходить, нет, не как Дант из чистилища, — подбородок и губы, те, которыми только любить и кричать, любить и гореть, но сомкнуты, чуть алея.

Ночь, меж собакой и волком. Дней десять тому назад. Или пять. Вернулись. А двор светом исполосован, автоматчики в камуфляже, джипы с прожекторами, домик оцеплен, окна распахнуты, голоса. Входим, не протолкнуться, сидят в гостиной, вожди, лидеры, нувориши, едят, пьют, виски, коньяк, вино французское, горы хлеба, рыб, мяса, грузовик услуги, обносят их, на полусогнутых, смена блюд. Видно, с горочки пир, расслаблены, официальное позади. Мадам представила. Оживленьё. Ты в комнату пронырнула, сославшись, а я замешкался, застрял, ввязался. Был там один, бульдожий, декоративный. С велеречивой хваткой. Ну да бог с ними. Бобик в гостях у барбоса. Да, говоришь, так оно всё и начинается. А потом бобик — хозяин, а барбос — премьер. И опять всё сначала. Дуют в щёки, обещают реки, обрастают шерстью, спят и видят косточку мозговую, а она, народная, вся в крови. Да, зол я был, зол и вымотан. А он придвинул лицо в брылях и жрёт, причмокивая, оттопырив мизинец с перстнем. И смрад от слов, вязких, гнилых, присахаренных. А я киваю, давлю улыбку, взгляды на нас, полсотни этих фальшиво блестящих глаз. А там, в двух шагах, один во тьме, заперт, сипит, смотрит в смерть единственно настоящими здесь глазами. И павлин, спиной к нему, вжавшись в угол, подрагивает головой, как секундная стрелка. Не сдержался. Лучше б я за тобой нырнул.

Васко да Гама, говоришь, задув свечу, привозит в Индию три тазика для умыванья, четыре красные шапки и пр. — написано. Понимаешь, четыре шапки и три рукомоиника. Открывая Индию, устанавливая отношения. А наш Афанасий коня везёт, одного, на корабле, с другого конца света. И не отдаёт его. Цена высока. Ты нам коня, а мы тебе — столько-то золотом и обрезание. Мусульмане. Индусы коня не брали. А Васко — по морю шёл, а другой португалец, Ковильян — посуху, одновременно вышли. И этот второй первым дошёл до Индии, а на обратном пути был в плен взят абиссинским царём, в Африке. И царь назначил его своим любимым пожизненным пленником. А Васко в Индии не лю-

били. Ковильян. А тот, который в огонь шагнул, — Калан. Кальян то есть. Как брат Дэби-браты, чаеносец.

Едем, едем... Первая бездна, вторая, а меж ними два ветра, густая вода... Нет, не так. Мир и не-мир, а меж ними — густая вода, ветер тонкий и ветер густой. Промежуточный, серединный, где-то там, на уровне бёдер. А над ними — акаши, пространство, невидимый мир, откуда плывут наши судьбы, вспять, сквозь бёдра Ману. Два мана сандала, четыре мана топлёного масла, пять серов камфары, полтора сера алоэ и десять манн твёрдого дерева. Пусть горит, горит, он говорит...

Едем... Деревни, поля, леса, свадьбы, шествия, перестрелки, спим, едим, едем... Махакала, коридор смерти, синий тоннель, линия перехода. Псы это чувствуют, слева от времени. Чёрные псы. Там, на шамшане, в Бенаресе, ходят по вязкой тёплой воде, в человечесем пепле, глядят на огарки тел. Агхори, тот священник, агхори. Странно, обычно они вдали от людей, от живых вдали. Энергии смерти, вот их работа, поля превращений. Там сидят, в Гималаях, запекаясь во льду. Видели мы их, Маша, видели. Температуры гоняют — туда, сюда, на порядок. Ожерелье на шее из пёсжих костей, через одну с человеческими. А чтобы священником был, странно. Шива, в воплощении пса, Махакала. Как-то так. Нет? Не помнишь? Едем, едем. Дэби просил — свозить в тот храм. Кальян его знает, того агхори, служителя Махакалы. Шанкарнаг. Или Нагшанкар? Ну и имечко, в самый раз для этого коридора. На краю села живёт, дхоти скрутил на бёдрах, идёт, чёрен, бос, жилист, режет лицом воздух, не оборачивается. Даже не храм, склеп, вниз ступени. Каменный пол. Сел, сели, дыра меж нами. В дыре огонь, и вода в дыре. А за спиной — девочка, как сосуд. А в нём молоко. Где девочка, где сосуд — всё вдруг смешалось, будто белые крылья в огне взбивает — чем? Ни рук у него, ни ног, ничего, кроме голоса, голосом смотрит в глаза, голосом бьёт наотмашь по стенам, своду, крушит лицо, до кости пробирает, будто не лица, а черепа на плечах у нас, поворачиваюсь к тебе и отшатываюсь, а он всё наращивает обороты, сшибает, колет, рвёт по-живому этот, уже добела раскалённый, санскрит: Ом нама шивае, Ом нама шивае... И рот пышет жаром, разверстый, гудит, остывая. Пёс, думаю, глядя на маленького обугленного барбоса в цветочном ошейнике у ног Шивы, дай тебе бог здоровья, барбос, шепчу, а ей — счастья, ей, любушке, — счастья, а мне — речь, и Бублику — на открытой ладони — что между ними. Дай нам — тем, кто и пальца не стоит этой земли, этих, может, последних на ней людей. Дай забыть это слово — дай...

Идут, машут, деревце рук бежит: лесник, Атану, Дэби, Руми, Кальян, Бхубан... И нет конца ни дороге этой, ни дню, — тихие сумерки, свет синий.

О Т К У Д А П О В Е Я Л О

Русская поэтическая регионалистика

МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ ПЕТЕРБУРГА

Пётр Разумов

† † †

Ему наследую
Дервишу русскому с камушком вместо хлеба
Борода его колет младенческий лоб
Вот фотография — я слева

Разделяют года, таблицы и списки
Ненависть, злоба и боль
Где плеть и ошейник, там сладость —
Эти понятия близки

Глаза его — мутные стёкла со слезой карамельной
Он смотрит как лупа сквозь дерево — прошлое метит

Содрал бы с живого кожу, и кости бы в раке жемчужной сварил
Подумаешь: как недостойно, как просто его любил

† † †

С классом поехали в Новгород
Днём прогулки, вечером — пьянки
Ронял сигарету раз пять
Всё в сплошном беспорядке
Попросил в ларьке продавщицу:
Дайте «Тройку»
Продавщица суёт алюминиевую банку —
Водка с кониками
К девчонкам с утра захожу:
— Уходи, уходи
А другая подбадривает:

— Заходи, заходи
Смеюсь и не знаю как поступить
Тут открывается дверь
И Олежка начинает в неё курить
Дует, глаза шарами
Все за животики —
То ли молиться Раме
То ли крестом осенить это дымное тело
Слышу, за окнами
Птица дневная на ветку села

✦ ✦ ✦

Я знаю всё, спроси о чём угодно
Ответ — загадка из загадок
Поэзия что слон холодный
Его на пудре отпечаток

Всех леденцов не съесть
И вера — злая мука
Когда поёт скворец и ирис нежен
В отеле дорогом разлука

Здесь вроде не был
Никогда — большое слово
Я знаю всё, спроси
Ответ — в шикарном бутике обнова

Не верь словам, не верь своим сомненьям
Все мысли — в запертой воде
Они похожи на растенья
И слово страшное — нигде

Андрей Сидоркин

✦ ✦ ✦

стук беспредметных касаний
шарики сплюснутый шар
кукол бегом побросали
следом родитель бежал
самый чужой колоссальный
скрылись толпой в кабинет

тусклая цепь угасаний
там его меньше чем нет
берег слоёного теста
выставил шаткую гниль
принадлежащее быстро гниёт
полный рот гусениц
чтобы ползти
чемоданчики наши пристроить
в резервации мягкости
много играть
будем много играть
на ослепших поверхностях
связки бессонных кроватей
чуть задевают торшер
много играть
мысленный люфт водосвятий
много играть ваше множество
и гаражей

ЭР2

когда из сумерек распустится глазами
электромеханический волчок
мы будем требовать потом пытаться сами
вложить билет в сигнальный кулачок
с платформой чокнувшись мучительно и хлётско
на бercaх клацнул ангельский зажим
в тайгу завёрнуты как гамбургские клёцки
в похлёбку герцога мы плачем и бежим
к восторгам тамбура где запонкой холеры
друг к другу пристегнёмся ложный след
застрял в пантографе как веточка омелы
в прокомпостированном божестве

ложбинка в бархате сиреневый диспетчер
неосторожный выронил портфель
давайте в карты пятипалый глетчер
сползает в хель

ОЖИДАНИЕ

сочленённые танцем
увязшие один в другом

не прекращающие исчезать
 умирают друг другу вслед
 полночь заряжена клюквой
 горечь полынных вод
 проступает отчётливей
 в смазке шарниров
 как если бы только здесь
 и никак не избавиться
 столько всего

маскарадная почва мерцание серных пластов

она уже в бухте

Евгений Арабкин

✦ ✦ ✦

Ночь которая ночь которая сразу за вечером
 По таким картам никуда не добраться
 Насчитал три полости
 Получается остаюсь
 Насчитал остаюсь
 Глаза блестят хуже снега под фонарём
 Насчитался
 Утром от такой тишины болят уши
 Все три заполнил одним и тем же
 Пока идёшь молодеешь на ощупь
 Чернеешь вниз

Вечером между сугробов
 тебе говорят
 здравствуй

Повторяют
 здравствуй посох
 Повторяют
 где твой странник

✦ ✦ ✦

за воздухом сладким сиреневым вынырнул
 когда моря текут вдоха надолго хватает
 чайка с тобой говорит дельфин елозит на месте

здесь остановка сердец здесь можно срезать
набраться наглости тяжести нутряной
флягой натянутой на коньяк в колокол ударить
ноги здесь сами идут руки ничего не забыли

✚ ✚ ✚

Он ему говорит
Из книг будут делать деревья
Попомни

А он ему отвечает
Каждой книги беру по два экземпляра
Потому что
С первого раза
Понять ничего невозможно

Он ему говорит
Все ветви заселят живыми
Так дальше от мёртвых

А он ему отвечает
Каждую смерть про себя повторяю иначе
Потому что
Очень боюсь совпадений
И деревенею всегда
На последней странице

Тарас Ткаченко

ДУБОВАЯ РОЗА

Дубовая роза на белом снегу
на полукруглой сцене сквера
скверного сквера
где урны с сигаретным прахом рядами
Клаксоны шарахают на бегу
прочь от моей руки
и брысь от бриза на котором ввысь планируют
как залпы скатов плиты соли
балконы и трубы гóрода
глазировать горькой слюдой
Эсминец с глазами особиста

и локтем на парапете курит
изрытую тень отлива
Здесь утром пекинесы
барахтались на резиновом взводе
хватали иней треугольником губы
в два бедных сантиметра наста
ныряли как после бани
наст изнутри взорвав
бодали щиколотки фонарей
и влекли обручённых хозяев
мимо меня и далее
к дубам поджавшим ногу
Процентщица-зима за летние деньки
обобрала их донага
в грошовой коре стоймя схоронила
зелень выгодно вложила
в подкаблучный пережной
Не наскребётся на венок
чтоб помянуть как тут ещё недавно
Какое небо на гастролях в августе
как на закате ветер с солнцем спорил
уступая и проникаясь
солнечной точкой зрения
и как топили по-звёздному маяк
у звучных сходней бородатого мола
Да алые паруса казались мне тогда вопросом
времени
Избыточного чтоб просто жить но в недостатке
для пере- или до-
или чтобы теперь смягчились три листа
три шестерни три орденские фразы на конце
суставчатого жезлика который
я подобрал под разорённым корнем
разобранного парка и назвал
уже потом в бездельном свете чая
Дубовой розой.

✦ ✦ ✦

Дело к вечеру, солнце настужь.
Недоумленный народ
по золотой фольге белой тростью ведёт
отрицает, скользит, бычится
с достоинством падает
Мороз схватил меня за кончики пальцев

за ногти в тонких перчатках
и выламывает
Лазурь пытаются медленные иглы
Драконы рады в реактивной вышине
где немой гром и можно на лету ловить птиц
просто открытой пастью
Они улетают в сторону Комарова
на недельку
Я остаюсь и крепко вглядываюсь
в соболиные хвосты на шапке девушки
с подкованными ножками
и без мыслей в голове
Хорошо без мыслей в голове
(По-настоящему-то разболются дома, в тепле)
Горячая вода, чистая агония
«Византийские диалоги» на углу раковины
в тёмных брызгах, но не утираются
и смиренно ждут
четвёртый день ждут
немного ласки вдоль корешка
Упорные. Для них немислимо
без мыслей в голове.

ОНА УЖАСНО БОЯЛАСЬ НАСИЛИЯ

Она ужасно боялась насилия
Не того о котором вы подумали о нет
Между ног у неё располагался салон
куда были вхожи интересные личности
высшее общество как в старые добрые деньки либертинажа
хотя сама-то она считала себя девушкой Серебряного века
не Золотого то есть надеялась на содержание
не рассчитывая на него
Иногда она пускала в себя погреться
разных прочих так из жалости или чтобы расширить
узковатый да и скуповатый круг в котором вращалась
теряя обороты как увядающий волчок
волчонок
Один зоркий фотограф назвал её блядью
и ей пришлось жить с этим неловким определением
как с небольшим печальным домовым
С фотографом она переспала тогда же
Видимо он тоже был интересной личностью
Один я знал что всё это неправда
и не вытирал о неё ног за что и был в конце концов

отлучён от единственной истинной церкви
Магдалены смущённой и необращённой
Она хотела быть смешливой тянулась каждым хрящиком в объятиях
и ужасно боялась насилия
двойного зверя там глубоко на улицах вовне и у себя
в раздёрганной точке темени иногда довольно ощутимой
Это было в руках это было в плечах
в колодезном спокойствии квартиры
где иголки и лезвия прятались с глаз долой
под спуд неприкасаемых амулетов
Один я знал что всё это...
но нож для обороны от того же страха
тугую и хищную финку
оставлял дома чтобы наверное проснуться в гостях
У меня такое доброе и белое горло видите ли
говорят я улыбаюсь во сне и вы можете себе представить
что если резать свиней всех свиней
то надо начинать с невинных

Тимофей Усиков

✚ ✚ ✚

нет никого расслабленнее рядом поэтому
послушай как в саду стучит груша
воспевая вакханалии старые по-новому
где особняк и «откуда столько мусора?»

действительно откуда столько мусора?
в саду упавшего буша с велосипеда как
нам приятно на травку на зелёный газон
моя героиня сидя на камне на фоне

в стойле хранит полуразрушенную лошадь
так вот смеяться и я её обнимаю за талию
за шею за грудь и за поэзию и нет никого
расслабленнее... рядом, поэтому — послушай

✚ ✚ ✚

вы когда-нибудь думали об эскалаторе?
как мы спасаемся твёрдостью под ногами?
как разрушенные представления

— здравствуй папа —
 — здравствуй мама —
 собираются твёрдостью вещества
 веществованием нашим
 как в круглом глобусе шариком
 в круглом отзвуке шагов несообразности нашей вашей океана
 собирается неопределённость
 а шарик-то тёплый-тёплый комочек лохматый запляшет
 заварит кашу
 и будет она вкусной-вкусной

ворожея медленного спуска

PETRA LINDHOLM

я могла бы купить книжку с чёрно-белыми картинками, заполнить ими весь дом,
 жечь камин уютно, пока вокруг всё вверх дном...
 моё женское одиночество, моя женская обесточенность.
 прохладный стокгольм

и расплётённое сетью сознание.
 книг у меня нет, только видео из 2000-х и небольшая квартира,
 где я, как скарлетт йохансон, как цветок перед окном, в трусиках, в майке,
 могу слушать построк, смотреть, как ложатся тени.

Никита Сафонов

† † †

*действие, происходящее в доме: темнота
 становится похожей на резкий откос, с которого валятся
 в призрачный дёготь тонкие нити слов, не сказанных никем
 из пяти человек текста (становясь определённой преградой на пути)
 каждые несколько минут вдалеке от дороги слышится гул
 (который, в свою очередь, трансформируется в так называемый «хор»)
 это заканчивается смена каких-то рабочих, и они покидают церковь*

•

ярослав дышит
 лёжа на полу, я подбираю чай
 календари смехотворно пустеют, и кажется
 нет продолжения — только это истинное
 сжатие воздуха, когда выпускается тёплый пар

из древнего сна, воспаряющего к свече
над которой никто не сидит — видимо, так и должно быть

ярослав дышит
за окном говорят: завтра туман

••

сложные преобразования свободы
длинные дороги

однажды

•

небесное, задняя часть цирка, там
постоянно слышно
куда же сворачивает, колесо цепляется

живые, наконец-то живые
да заполонённые древесной сыростью

вот номера телефонов, которые не вызвонить
да и просто
да и непросто найти

а есть зачем

••

куда-то уходят
все

и видимо, давно

эти деревья

•

вода из которой крыш
проливная вязь обустроенная меж бёдер

или мысли куда скорее
чем в этот дождь, мокнуть, падая

мог бы сказать сначала, а так
получается словно время молчком
подворачивает ступню, остановка
вот она — выходит

а кто, а кто именно
не ответить

стоя без обуви на террасе
как раньше
свет такой тонкий

‡ ‡ ‡

теперь здесь
сколько уже, или

жили
догорали костры

молодой лейтенант кашляет
[проходите]

словно какой-то выступ
широкие мазки
наращивание, цветы растут за окном

теперь полетели

здесь

где же где же
такое лето

теперь дымом
пахнет

и рожью

Антон Равик

✚ ✚ ✚

была
слобода-отара
светили
фары

корь
на краю деревни
у черни

пепел
пошёл
как вал
от залива

вылился
и пропал
всем
на диво

✚ ✚ ✚

Лепнины
грозовой рубец
как клёцки
с падали червивой
прибрали
твари
наконец
души
его
мерцающей
оливы
напялив
на гортань
чепец
белёсый
потрох
пустоты
ревнивой

† † †

под
отчёт
кубатура
тел
по
сидению
автомобиля
голой
пяткой
пройтись
хотел
киль
обочин
терновник
пыли

на гамак
ранец
плед
весны,
купол –
в камень
в состав
небесный –
выволакивал
из
кормы
отраженья
места

кран
подъёмный
заныв
в глазу
в небо
вынес
лист
из-за
бочек
выволакивая
бирюзу
переваривающей
тело
ночи

склад
литот
так осенний
день
смерть
полюбившаяся
изъяну
пятый карл
мраморный пот
пол
ватикана

Никита Мионов

✚ ✚ ✚

переливается через край, и за ограду, как колобок
в улыбке клубок ниток, поди раскатай
вот и раскатал, вот и понадеялся
что день продлится дольше, чем неделя
раскатал губу раскатал нервы это первые сто тысяч километров,
пройденные пешком

брат свернулся кольцом
вокруг мизинца
враг свернулся папиным молоком

✚ ✚ ✚

добавить в резюме:

купалась в финансовом заливе
заливалась не смехом по дурости а нефтью
зввалила на себя телефонные звонки
звонкие купюры

проводят интернет широкополый как шляпа
школа, значит, их либе
пошла, значит, за хлебом, купила аляповатый
купальник, чтобы в следующий раз купаться в финляндском
ингерманландском сиамском уфимском

† † †

и комендантский час
и рассвет после стоунволлских бунтов
ты снимаешь столетние бинты
ты
нить, связующая комендантский час
и рассвет после
стоунволлских бунтов

Алексей Афонин

† † †

Время холода. В утро проходишь молча,
в светлый пустой кабинет.
Ветер синий, и счастье дурное, волчьё
зажигает над Финским огни,

обрывая чернику туч.
И дюралевым соком холодным
наливаются вен гудящие шланги
и свистят на ветру, на мосту.

Керосинный лес и пронзительной влажности корни.
Откровение — точка полёта — отрыв —
в прошлое. Под хвою, под пивные крышки, искания —
в глубь глаз, в эмбриональное сердце земли.

О картонных рыцарях правда и небылицы
в просветлённо масляной тьме луж
отражаются. Будешь, как жужелица,
трещать в лесу доспехами панцирей, смешной жук.

Успокойся и нюхай. Оно окажется
кислое, голубовато-белый прожектор
вектором в пустоту, и жжётся
вольфрамовой нитью времён: молот и Тор, мотор.

А за обрывом стена из стекла горбом
тёмным литым шипит, не дремлет никак.
Корабли и пространство как рупор, раковина, гудок, озноб.
Горизонт впечатывается в песок.

Чувство моста — приподнятое и продетое
насквозь ветром, как суровой ниткой игла.
Камертоны детства:
сосны, котельная, космическая звезда.

(СЕБЕ)

Да нет, не ненависть, какое презрение, что ты,
просто зависть.

Но будь проще. Видишь, колеблется черёмухи локтевая завязь,
локтевой сгиб.

Да ветер накрапывает, в бездонные чашки форточек завернувшись.

Будешь ещё пустым, будто песок,
и нет вокруг никого, только банка жестяная, целое озеро.

И будешь и лёгок и чист,
как каменный леденец.

И по мальтийской компьютерной клавиатуре пройдёшь, не притронувшись.

(Типографские острые шпили,
и ветер шуршит пакетом.)

И где слова замёрзшим пасмурным молоком
крошатся в электронном дыхании,

поблёскивают

между сном и растушёвкой, пятое измерение.

Вот там, в растянутом свитере, в вороха бумаг.

Где ты — скорее пристальная тонкость
от дождевого неподвижного сиянья,

незнакомый.

(Пойманный момент
в выключенном теле монитора.)

И будешь ещё чуть солоноватую музыку
кумранских свитков древних 80-х годов
проходить

по вечеру,
как голубь, фотография, ничей.

(Ветер шуршит пакетом.)

Отложив на край стола
глухо звякнувшие стихи, тяжёлые, как плоскогубцы.

(ДЕЖА ВЮ)

созерцаю кузнечика у ручья,
прихожу к неутешительному, в общем-то, выводу:

кажется, всё это уже было.

так что совершенно непонятно, с кем сражаться,
с чего париться, на что глазеть:
выпалывайте ростки дихотомий, похожих на розы,
мироздание — одна большая ничья.

но ведь вкусное! перебирать

всё, что есть у меня: нефритовые лягушки
сухие стебли травы, лисьи хвосты
папоротник и осокорь
мускулы росомахи
запахи соли, японских водорослей
сталь травлёная — всплеск хамона
птичий профиль
валашские брови
серебряные фейерверки, *бродячая собака*
круассанов французские крошки, очень
много дыма, табачные разные невыносимости —

как камешки разные в круглой коробке.

пуговицы слов под языками,
облатки на языке, а на них — леденцы
тысячелетий.

и много, много сухого марсианского льда

в зрачках, и улыбаться неотвратимо, почти что — неотвратимо:
у меня в карманах — весь голый свет и полынная чёрная вода,
мне не надобно вашего *лирического мэйнстрима*.

ДАЛЬНИМ ВЕТРОМ

ПЕРЕВОДЫ

Дональд Ревелл

УРОК АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УРОК АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обнаруженные прорицания отвратительны,
как если развернёшь полотенце, а там — личинки
и тут же — зелёным взрывом во все стороны

навозные мухи. Столько мучеников похоти вздели
снаряжение на жёлтые худосочные спины
в надежде, что уродством можно исправить

этот изуверский логарифм: избыток
нежности, и мужчина и женщина рядом с Ифигенией,
обречённой на смерть, и власть, раздевающая

осуждённых на смерть — перед казнью.
Честолюбие оборачивается убийством.
Ночной порыв людских объятий —

снаряжением на спинах мучеников.
Если есть у тебя семья — пусть она голодает.
Если твой паспорт раскрыт на столе

перед чужим человеком, мужчиной или женщиной,
значит, уже час как тебя нет в живых.
Там, на столе, в зеркальном отражении

на паспортном фото твоё лицо кривится и плачет,
прощаясь, будто уже предано огню.
Если у тебя есть ребёнок — в последний раз

ты поцеловал его час назад.
И теперь к его спине привязывают нечто
с очертаниями оливы, величиной со снег.

Бусины детской слюны словно ртуть
на каменных плитах храма. Это — прорицание,
едкая кровь богов во славу многих побед.

ИЕРЕМИЯ

Нет, он не кричит. Его голос — аромат духов,
которыми sprysнуты столбы солнечного света,
запах цветов, слишком быстро сгорающих, слишком близко друг к другу.

Его брошюры объясняют ненасытность природы,
печальную бесполезность фонтанов,
посвящённых Гейне в 1900 году.

Лицо Гейне непроницаемо.
Голые конечности Лорелеи
скупо жестикулируют в медных кубках,

пущенных на проволоку и стружку.
Граффити прячет непристойность за непристойностями.
Солнце — не шар.

Солнце — стена. За ней полицейские
выхаживают важно, как зонтичные птицы,
и ни одна неотложка в эту стену не верит.

В жарком алькове пророк с остановившимся взглядом
клянёт себя на чём свет стоит — а что если
случившееся не повторится! Он говорит:

«В пустыне я молил об одном милосердии,
не о счастье, не об оправдании, желая
укорениться наконец. Ни одна цена

не слишком высока, ни одна жестокость не чрезмерна,
если в итоге жестокость иссякает и милосердие
раздаётся ударом молота в шуме дождя».

Цветы сгорают слишком быстро, слишком близко друг к другу.
Бедность — последний вкус солнечного света
1900 года, где мы встретимся вновь.

ЗАРНИЦЫ

Мы живём в прекрасном новом районе.
Тут ветер такой, что листу не долететь до земли.
В солнечном блеске соседская девочка на ходулях —
так потрясающе освещена, что
растворяется в свете, бьющем у неё из-под ног.
А праздников в нашей жизни нет.

На старой улице мужчины поубивали бы жён
из-за сильного ветра. Их свободой были рамки закона,
их жизни смердели. Не бывает здоровых там,
где никто не лечит брошенных детей,
а ветер от флагштока к флагштоку
(беспощадный дикий чужой) телеграфирует
о судьбах животных, о праздничных указах.

Отдай руку, чтобы сберечь руку, око за око,
глядящее лишь наружу. Я превратил
своё сердце в частый бредень закона
и получил в награду медленное угасание
моего нового ребёнка в палате, где Рождество
справляют раз в месяц, не снимая чулки для подарков.

На старой улице все приносили жертвы
по вере своей. В прекрасном новом районе
свет незыблем под ногами детей,
я живу один, никем не брошен, и
жертва — повседневность, рутина.
Солнце и ветер всё сильнее и сильнее,
нет им помехи, и мы постепенно
растворяемся в едином цвете наших окон.

НА ОТКРЫТКАХ

На втором этаже теплее, но будущее не там.
Где-то ещё, в клетке, где зимние нации —
цирковые, полуживые и беженцы —
проходят через допрос вплоть до уничтожения.
На втором этаже семья музицирует.
Но в будущих местах содержания идиотов
вопросы обращаются в лёд, и первый снег
многих смертей чернеет прежде, чем упасть.

Кое-кто бередит и раздувает это во мне.
 Уроженка столицы, незаконная дочь
 музыканта, гид туристической группы,
 она — новое совершенство, и я её творение.
 Она так долго была счастлива
 в клетке, она натрахалась по самое некуда
 в этой клетке, она признаётся, откровенничает во всех
 подробностях, пока мы едем от памятника к памятнику.

Семьи музицируют в цирках.
 Время расправляется с цирками.
 Приговаривая что-то о животных, моё
 любимое, лучшее время — будущее
 растёт, откровенничает, воскрешает
 вышибающие слезу плоские пейзажи
 в чёрном снегу и милосердный дар
 любить отцовское тщеславие, но не отца,
 материнскую скорбь, но не мать.
 Сиротство признаний
 оправдывает чёрную землю и колыбель — того я и ждал.

ЮБИЛЕЙ МНОГИХ ГОРОДОВ

Тьма раздвинула воздух там, где он гол,
 мак и драмодела, цветок и бомбу.
 Слишком много невинности уцелело.
 Кое-какими остатками — сумраком без конца
 в убывающих партерах — отравлен
 спирт сиротства. Любая стена
 была из надшахтной времянки,
 любой завиток дыма — женщиной,
 непристойно заснятой мужчинами из родни.

Я живу в кредит.
 Я люблю мужчину, и он из мяса состоит.
 Я люблю женщину, она из рыжих волос,
 завиток дыма, что любит меня всерьёз.
 По всей Европе реставрация и ремонт
 звук обращают в сущее ничто:
 то ли взрыв, то ли жалобный стон.

Кто б ни чеканил монету тотальной войны —
 он низводит всё прочее до грошовой подделки.
 Хоть в дурдоме упрячь её, хоть в постели,

это всё та же война. Получать и платить —
война. И раз уж речь о бессмертии
не идёт — значит, довлеют дню
воинские потери.
А что не умрёт — то достойно жить.

Перевёл с английского Дмитрий Кузьмин

ЭПИГОН

Божество этого мига — божество навсегда.
Мне нравится косность этой максимы,
невыразительная нагота моря,
запечатлённая на лобовом стекле,
сымпровизированная, когда нечего было познать.

Ты можешь убить паука, но оставь паутину.
Вот как мой сын сосёт грудь.
Его лицо уменьшается, пока тело растёт.
На его высоте у ветра муравьиные лапки,
и здесь ничего не познать, кроме
изменчивых анатомий ветра,
обретающих плоть, да, на любой высоте.

Я завишу от мгновенного божества,
как от переменчивого милосердия
вечерней школы, жёлтых учителей,
бесстыдно плачущих, когда все вокруг
неподвижны. Я слышу звуки,
распотрошённые в шуме ветра,
монотонные в голосе моего сына.

Вера — это импровизация. Она помечает небо
двойной волнистой линией — следом самолётов,
новой расы, превзошедшей людскую,
а промежутки заполняет ребёнком —
пока падает ливень и ветер, запинаясь,
муравьиным шагом укрывается в тень.
Всё безвозвратное заслуживает культа,
чуть заметного движения ветра, музыки.

Перевёл с английского Валерий Леденёв

Альфред Губран

НАПУТСТВИЕ

ВЗГЛЯД

В облаке тьмы
твоё око
словно лезвие
вспарывает плоть пса,
разоблачая потроха.
Обнаружив себя,
они растворяются,
выхваченные светом.

КУДА МЫ УШЛИ

И Несмыслёныши любят,
если растопишь им сердце,
словно печь.
Души — кривые сучья,
кора в трещинах,
рот — колун:
они идут по дрова
от двери к двери.
«Сейчас», — говорят они,
и что не открывается —
тому быть расколотым надвое.
Но им ничего не найти в лесах,
укрывших нас.
Их язык притупляется о твою кожу.
Их злобный взгляд проваливается
в ничто,
как
мяч.

НАПУТСТВИЕ

Прошу,
чтобы вода не
вращала мельницу,
и жёрнов даже
на дне
сдерживал
бег лопастей,
и чтобы замершее в полёте
обросло мхом
и тем самым
предало себя времени.

Проси,
чтобы на твоём
лице не покоилось
чужое, и
это был твой рот, твоё слово,
твоё дыхание,
что наполняет твой мир,
не впадая в тело
этой женщины,
обнимающее тебя
с детства.

Не ищи
источники, они следуют
за тобой, их вода
идёт по пятам и смывает тебя,
превращаясь в ручей,
в реку, в поток,
в открытое море.

Ступай
вверх по течению, если склон
держит тебя.
Не поднимайся
к Матерям,
не утопай в земле от стыда.
Не склоняйся
перед небом,
опустись
перед ним. При этом распахни
руки, как если бы ты хотел

его обнять,
не принуждай его, Ангелоподобный,
не противься ему, раскрой своё
сердце и предложи
вместе с рукой и оком
в жертву.

Врастай в почву линией бедра.

Перевёл с немецкого Евгений Никитин

Шота Иаташвили**БОГ — МЕТАФОРА****БОГ — МЕТАФОРА**

Бог — метафора, любовь — эгоизм,
жизнь — трапеза, и нам её переваривать.
Хотя скупой мир никогда не уделит
вдоволь хлеба и радости,
в мире никто не знает, куда уходит весна,
но мы ждём её и верим, что вернётся.
А с человеком трудней, чем с весной,
и, если не знаешь, куда он ушёл,
трудно верить, что он вернётся,
Ежеутреннее пробуждение от утомительных снов
всё сильнее смахивает
на вход в оголённую комнату,
из которой вынесли мебель,
где не знаешь, куда сесть, на что взглянуть, чего искать
или для кого взвыть всей кровью, подобно голодной собаке, —
нет, не знаешь!
И девственница, льнущая к первому мужчине с любострастием
стервятника,
уже не сможет вернуть свою пьяную кровь
обратно в тело для другого.
Снег, если растает, уже не станет тем же снегом,
хотя снег всегда холоден, подобно Богу и любви.
А жизнь — трапеза, бедный, холодный ужин,
и чем он беднее, тем труднее его отвергнуть.
Существование — сладостная петля,
стискивающая наше дыхание,
подвешивая его, как бесценные бусы —
мы не можем расстаться с ними,
как небо не в силах расстаться с луной,
хотя луна уже лишь падаль,
корм для бродячих, несчастных собак,

которые никак не смогли поделить её.
 Поделили! Нас всё же поделили:
 кровь и снег, небо и земля, вороны и соловьи,
 поделили... Наши нечистые части
 разбросали на все четыре стороны,
 и к этим осколкам наших костей
 миллионы никогда не склонятся в поцелуе,
 никогда нашими волосами не скрепят крест из лозы,
 да что там крест — даже ножницы,
 да что там крест — даже бумеранг,
 да что там крест — даже обувь не завяжут,
 в которой мы могли бы рискнуть уйти,
 ведь без обуви мы беспомощны,
 полагая, что наша сила — в непромокаемых сапогах,
 а не в Боге,
 хотя и Бог уже давно всего лишь
 усталая и стёртая метафора.

Перевёл с грузинского Алексей Цветков

ЛЁГКОЕ, ОЧЕНЬ ЛЁГКОЕ И НЕ ТАКОЕ УЖ ЛЁГКОЕ

Люди шатались, как пьяные,
 И опирались на палочки от эскимо,
 Чтобы не упасть.
 Маленькие девочки, привязав бечёвками комнатных собачек,
 Выбегали на улицу и размахивали ими, как воздушными шариками.
 Утро слизало наши тени,
 И мы искали их, взявшись за руки.
 Когда ты наклонялась,
 Два маленьких, упругих солнца
 Выскальзывали из выреза,
 А я собирал их и возвращал обратно.
 Однажды они подкатились прямо к ногам деревенского мальчишки,
 Впрыгнули в его зрачки, и он зашатался,
 И только весёлый мороженщик
 Удержал его, протянув, как костыль,
 Твёрдую трубочку сладкого холода.
 С невозможным наклоном фигур Шагала
 Одни вдруг замерли, вдыхая запах обнажённого лета,
 Впадая в забытье, и на лыжах своих снов
 Заскользили по улицам.

А другие — никуда не двигались, застыв на одной ноге,
Точно цапли на подмостках,
Бормоча сны.
Встревоженные репродукторы
Просили держать дыхание
И остановиться. Остановиться. Оста...
Внутри купола, оказавшегося цирком,
Канатоходцы, срывая представление,
Падали вниз, как спелые груши.
А мы, вместе с оставшимися без присмотра детьми,
Вырвались прочь, наверх, и облетели купол
Три с половиной раза.
Его алюминиевые бока, похожие на мглистую воду,
Отражали наши движения.
Когда мы уставали, мы просто ложились на спину и отдыхали.
А люди внизу крутили полыми головами,
Касались друг друга и, качаясь,
Ложились плашмя, то в одну, то в другую сторону.
Некоторые уже не вставали, —
Наверное, это была усталость,
Больше похожая на смерть.
Иногда и те и другие прекращали
Судорожные движения и одновременно простирали
Параллельные руки, туда, к верхним небесам.
Именно в этот момент
Нас, парящих над куполом,
И настигла волна земного запаха, убийственного аромата,
И мы, очертив семь раз по три с половиной круга,
Медленно пошли на посадку,
Приземлились в этот ленивый,
Пологий танец толпы,
Чтобы найти, наконец, свои тени.

Перевела с грузинского Елена Иванова-Верховская

Мартин Светлицкий

БОЛЕЗНЕННАЯ НЕХВАТКА НЕПОНИМАНИЯ

MCDONALD'S

Нахожу след твоих зубов в чужом городе.
 Нахожу след твоих зубов на своём плече.
 Нахожу след твоих зубов в зеркале.
 Порой чувствую себя гамбургером.

Порой чувствую себя гамбургером.
 Торчит из меня салат и течёт горчица.
 Порой я до смерти похож
 на все остальные гамбургеры.

Первый слой: кожа.
 Второй слой: кровь.
 Третий слой: кости.
 Четвёртый слой: душа.

А след
 твоих зубов
 глубже всего,
 глубже всего.

СЕДИНА В БОРОДУ, БЕС В РЕБРО

Старик, а всё туда же, словно мальчишка,
 все кривятся и смотрят на него с презрением,
 старик, а всё туда же, сатана постелил ему
 в подвале, архиепископ написал на него донос,
 старик, а такой невесомый,
 расхлябанный, рассеянный,
 что плывёт, оплывая, словно свеча.

ФАЛЬСТАРТ

Я — это только то, что я собираюсь сказать.

(между Старым и Новым
заветом есть
зазор, где кроется смысл всего)
(я не хотел
этого говорить)

О, ужасный понедельник!
Слышно, как в сумерках
Нейл Янг и «Crazy Horse»
исполняют песню «Like A Hurricane».

Всегда нужно оставлять какой-нибудь хороший номер
на самый конец.

БОЛЕЗНЕННАЯ НЕХВАТКА НЕПОНИМАНИЯ

Они не пьяные. Это иностранцы.
Они просто так разговаривают. На дворе ночь.
Вот они завели мотор.
Отъехали, болтая.
Окно открыто, я слушаю,
как выражается ночь.

МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК

И ещё скажу: вы по-прежнему состоите в партии.
Партия заслонила вам весь горизонт.

Партия села вам на плечи и кормится
всем, что вы делаете и с чем сталкиваетесь.

Партия конкретно осела в вашей крови.
Партия прочно держит ваш позвоночник.

И ещё вам скажу: мало просто помыться,
поскольку всё партийное не смоет даже новейшая

генерация моющих средств.

И ещё вам скажу: если мои чёрные
галлюцинации стоят у вас костью в горле,

это клёво, значит, то же самое
чувствует ваша партия.

ФИЛАНДИЯ*

Никогда не будет такого лета.
Никогда не будет такого лета.
Никогда полиция не будет так
вежлива,
а пожарная охрана не будет
так проворна и умела.
Никогда сигарета не будет такой вкусной,
а водка холодной и целебной.
Никогда не будет таких красивых девушек.
Никогда не будет таких вкусных пирожных.
Сборная нашей страны
больше никогда не покажет таких результатов.
Никогда не будет таких колбас,
такой кока-колы,
такой горчицы
и такого молока.
Никогда не будет такого лета.
Солнце не будет больше так чудесно
всходить-заходить,
месяц не будет
так красиво висеть.
Никогда
не будет
такого телевидения, таких ярких газет,
никогда
ты не будешь со мной так нежна,
никогда священник не будет говорить
таких мудрых слов,
никогда органист не будет играть так красиво,
никогда Бог не будет так близок,
не будет таким ласковым и добрым, как сейчас.
Никогда
не будет
такого лета,
никогда
не будет
такого лета...
На горизонте сверкает молния
и слышен скрежет
железа.

* Филандия — городок в Колумбии, символизирующий для автора далёкие, почти нереальные края. —
Прим. пер.

СМЕРТЬ

Собака, ласка или иная сволочь
однажды ночью разорвала в саду всех моих кроликов,
кочки шерсти на кустах малины
и ошметки внутренностей — очевидно, несъедобные —
странные штуковины, поддерживавшие жизнь.

Погибли Одиссей и Пенелопа, погиб молодняк
вместе с самым большим из них — Телемахом
(прочие погибли безымянными,
мне уже больше не хотелось изобретать мифологию,
и они умерли под своими кроличьими именами,
я подарил им свободу).

Я подарил им свободу, разрешил
убегать из клетки. Вечерами, разглядывая их уши,
торчащие в зарослях одуванчиков,
и слушая топот под деревом, — я собирал
кроликов по одному и нёс их, трепыхающихся.

След
на грядке

глубокий и неровный, теперь
уже могу о нём рассказать: след

на грядке, кочья светлой шерсти
на кустах, на тропинках, крыса в кроличьей клетке,

след
на грядке, глубокий и неровный.

След на грядке, глубокий и неровный.

ПОСМЕРТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Итак, в какой-то степени я не был тебе верен.
Мир существовал, а это отвлекает. Я просыпался
и жил, двигался, ел, разговаривал,
пил вино и играл в людские игры, ездил
поездом и позировал перед камерами, отвлекался,
прости.

Итак, в какой-то степени я не была тебе верна,
 чем-то была занята в других городах, с другими
 людьми, кроме тебя, у меня были времена года,
 животный мир, деревья, войны, дети, большое
 жизненное пространство. Лишь теперь я останусь с тобой,
 прости.

И теперь всё будет? Ничего не будет.
 Шляпы и крыши, кроны деревьев, высотки,
 шоссе и железнодорожные пути, реки —
 всё расплывается перед твоими глазами.
 Я позволила себе
 кое-что дописать на твоей открытке,
 прости.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

За стеной сад но эхо такое
 словно там ещё одна комната
 мыши почуяли неладное и вывели
 свои отряды из этого дома

Белый пёс толстый белый ангел
 вчера принёс весть о тебе я прогнал его
 смёл осколки разбитого зеркала
 умылся растопил печь

Они входят выходят разглядывают всё вокруг
 я улыбаюсь хотя мог бы убить
 когда ты заглянула в окно и подала мне знак бровями
 я назло решил не выходить

Я всё ещё предпочитаю думать что здесь тепло
 твои сани в метели не видать мне королевства
 я крепко держусь за стол не видать мне королевства
 я крепко держусь за стол и зрачки у меня белые

КУРЕНИЕ

Спрашивается, почему это некурящие
 садятся без зазрения совести на места для курящих?
 Почему хотят доминировать?
 Почему вечно ходят в обиженных?

Моя маленькая подружка, сигарета.
Я провёл с тобой больше времени, чем с кем-то другим.
Мы убиваем друг друга
с нежной привязанностью.

Спрашивается, почему это некурящие
не ценят нашего одиночества,
нашей безумной отваги, нашего
зноя, нашего пепла?

Перевёл с польского Игорь Белов

Тарас Федирко

ЧИТАЯ ПАЛЬЦАМИ

ЧИТАЯ ПАЛЬЦАМИ

Тем ощупью найденным
поворотом,
поэт выщербленный, пустотель,
ты пришёл на руках.
Вырезанный из времени, будто гроб.

Ты проступил через стены,
эти пусто-текущие,
из глубин существующего:
чернозёмом в ладонях,
слезами пальцев.

Щебнем слов
пронизываешь их, считающих:
с меня, с меня
пишущим голосом
царапая по стеклу.

РАЗДЕЛЁННОСТЬ

По воздуху, твёрже железа,
Пронесено прикосновение,
Отбытие сквозь
Названиями разделённое.

Неосторожного путём идя,
Неисполненного,
Он-во-мне вопросом растрескался:

*Устою ли в Твоих глазах, Господи несуществующий,
Выдержу ли*

ОДНО-ИЗ-НАС

Не узнать лица
заминдалелого. Несоучастник, ненаблюдатель.

Слушай:
то наточенное,
что вызвучивается во мне, то, написанное-и-невидимое,
произнося, вы-являю.

Пока есть память,
время от-бывших вместе с моим, твоим, сущая —
одно.

Мы — теперь — и Сизиф, и его камень.

МИНДАЛЬ

1. Миндаль, о чужая

К неистолкованному,
К указанному тишине посланию
Сквозь рассечённый тишиной глаз заката
Я подношу себя, —
В этих полных,
В этих лёгких-тебе руках
Вмещающая растолчённый на прикосновения
В краснораскроенном воздухе
Миндаль
Тебе, пустотелая чужая.

2. Решётки рук

Прозрачность, твёрдость
Камня между ладонями.

Перед разрывом прикосновения
Я пустой, я полный тебе ожидания
Кулак протянул —

И в руках, сложенных для молитвы,
В твоих прожжённых,

Лёгкое тело, для убийства заточенное,
Раскрошилось протяжным криком,

Рассыпалось.

3. Остриженная наголо

Среди базальтовых столбов тьмы
Ты разламываешь меня, будто хлеб,
На слова, на предложения.

Из храма рук я погружаюсь
В течение по-кругу-реки,
Из страха возвращения замыкая линию.

Этот мой из ночи глубинный крик —
То в чернозём времени входит память,
Входишь ты, остриженная наголо.

† † †

Речь твоя — чуже-вынутая,
с языка на язык переложенная,
из рук в руки.

От слов, над словами призванный,
ты отводишь меня, самоубийца,
прочь:
в нераздельное, в не названное
место во мне.

† † †

Дыхание,
изверженную ветвисто-ломкую пустоту подняв,
я трахею держал сурмой:

нет, ни слова нет в альвеолах,
лишь разорванное
вер, и, шь!

‡ ‡ ‡

Сгорбленный,
под порогом, прячешь нечто маленькое —
огромное, вырванное с корнем:
бурьян, «нет», — зайди, пусть тесен этот пустырь:

высокая птица, галка,
свою песню выкрикивает

— тут, надо лбом,
где ветвисто торчит дендрит,
собравшийся в птичий рай —

к камню,
что фаллически мне в воздухе зияет;

и
слеза над глазом в реснитчатом рту,
пей ты от неё: рванули мои натянутые губы
за твёрдым словом — к опустошённому,
и обмякшему.

Заходи, качаясь, себя ночь
накрошит на плечи, —
миндально замерцает
даль.

Перевела с украинского Анастасия Афанасьева

ЗАПАС ВОЗДУХА

АРХИВ И МЕМОРИАЛ

Илья Кукулин

СГУСТКИ ОДИНОЧЕСТВА У истоков поэтики Михаила Файнермана

Литературная судьба Михаила Шиковича Файнермана (1946–2003) сложилась как-то особенно неудачно даже для России, даже для сообщества неподцензурных литераторов, которые десятилетиями не имели возможности публиковаться на родине. Файнерман не имел амбиций лидера, но не стремился и к осознанной «маргинальности» или «подпольности». Тем не менее, при жизни поэта его стихи публиковались крайне редко, единственный прижизненный сборник вышел тиражом 200 экземпляров, философские работы не изданы вообще. Отчасти, конечно, это связано с тем, что на протяжении многих лет Файнерман был психически болен, но его болезнь не несла с собой постоянной неменяемости: конечно, ему было трудно состоять на какой бы то ни было службе, но всегда, кроме откровенно патологических периодов, а они случались нечасто, Файнерман был интересным собеседником, писал длинные содержательные письма к друзьям*, стремился к публикациям... В мемуарах друзей можно найти объяснение: он был неспособен «пробиться» в литературный истеблишмент из-за ранимости и душевной хрупкости. Этими качествами Михаил Шикович в самом деле был наделён, однако, вероятно, причины его не востребоваемости — в первую очередь эстетические, а не психологические или медицинские, и связаны они, как часто бывает, просто с невнимательностью современников.

Насколько можно судить из сегодняшнего дня, творчество Файнермана сперва, то есть в конце 1960-х и начале 1970-х**, воспринималось читателями за пределами очень узкого круга, даже хорошо осведомлёнными в контекстах неподцензурной поэзии, как излишне «иностранное», своего рода калька новейшей англоязычной поэзии, а потом, в 1980-е — 1990-е, — как слишком социопатическое, аутичное. Для поклонников же советской «тихой лирики» стихи Файнермана были слишком нетрадиционны по своей поэтике, да и психология в них, если вчитаться, тоже совершенно *нетрадиционная*.

Причина этого общего несовпадения — в том, что художественная задача, которую на протяжении многих лет решал Файнерман, даже в литературном сообществе сначала воспринималась как малозначительная, а после — как слишком очевидная, в то время как она не была ни той, ни другой. Файнерман оказался незамеченным новатором — вероятно,

* На основе переписки с Файнерманом известный израильский писатель Наум Вайман подготовил книгу non-fiction «Ямка, полная птичьих перьев» (М.: Новое литературное обозрение, 2008).

** По свидетельству поэта Михаила Сухотина, первое стихотворение, которое Файнерман относил к своему зрелому творчеству, он написал в 1967 году (Сухотин М. О Файнермане (Хафмане) // Сайт Александра Левина).

одним из самых незамеченных в истории русской поэзии.

Произведения, представленные в этой подборке, — ни стихотворения, ни поэмы: Файнерман называет их клотами. Clot по-английски — «сгусток», довольно частое значение — «сгусток крови». Для Файнермана, видимо, это имело значение ещё и «сгустка чувств» — печали, тревоги, волнения.

Здесь публикуются клоты 1973 года, и при последовательном чтении становится видно, какую задачу решал Файнерман тогда — и, вероятно, на протяжении всей жизни. Он адаптировал в русском языке традиции новейшей западной поэзии — Сильвии Плат, Аллена Гинзберга и некоторых других — для того, чтобы дать русской поэзии язык для описания чувства, которое можно было бы назвать сочувствующим одиночеством. Нужно это было не только для того, чтобы выразить определённую частную эмоцию, но и чтобы создать новый образ человека в поэзии — странника, очарованного метафизическими вопросами, восторженного и бесприютного «бродяги дхармы».

Бесприютен и герой «Москвы–Петушков», поэмы, написанной в 1969 году, незадолго до публикуемых клотов, — но он всё время на миру, втянут в бесконечные споры, диспуты и словесные игры с попутчиками, встречными и поперечными. Монолог героя Файнермана обращён не к собеседникам, а к молчаливо сочувствующим — но ни к кому конкретно. Более того, «экстериоризация внутренней речи “зброшенной” личности», происходящая, по гипотезе Н. Л. Мухелишвили, В. М. Сергеева и Ю. А. Шрейдера, в литературе переломных эпох, — вопреки этой гипотезе, направлена у Файнермана не на то, чтобы «обрести коллективную идентичность»*, а, наоборот, на то, чтобы преодолеть *любую* законченную идентичность, как библейский Иов, и тем самым обрести свободу.

В русской литературе, вплоть до 1960-х годов, одиночество воспринималось как трагедия. Одиночка — всегда в большей или меньшей степени отщепенец, который может гордо принять свою судьбу, как Мандельштам в 1930-е, но стигматизированности и чувства униженности от этого не теряет. Для Файнермана трагедия — не одиночество, а само человеческое существование. Одиночество — витамин, который даёт силы ежедневно справляться с этой трагедией, и поэтому — единственно возможный способ жизни. Но тогда это чувство должно было стать не одиночеством отщепенца, а новым самоощущением, которое Файнерман описал в письме к Науму Вайману — характерным образом вставляя английские слова там, где ему не хватало русских:

«...Только теперь, вполне выйдя из депрессии, я вижу, что она мне дала: дело жизни, стиль её, направление и цель. Общины разного типа — от сексуальных до просто производственных. Даже с воздержанием. Букет разных типов, образов жизни, даст каждому одинокому найти своё. Ведь и одинок всяк по-своему. Главное же во всём этом деле — сделать так, чтобы люди не стеснялись одиночества — сделать, чтобы это стало обычным: я ищущ someone. По-русски так и не говорят, а по-английски: I'm full lonely — просто»**.

По-английски Файнерману казалось написать более удобным потому, что ранее подобное самоощущение было выработано европейско-американской контркультурой 1950–60-х годов. Например, Файнерман любил британскую прогрессив-рок-группу «Rare

* Мухелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Иов-ситуация: искушение абсурдом // Философская и социологическая мысль. 1991. № 8; Мухелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Иов-ситуация Иозефа К. // Вопросы философии. 1993. № 7; Лассан Э. «Плюрализм возможен, консенсус исключён»: роман Ю. Давыдова «Бестселлер» в свете «лингвистического поворота» в гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2006. № 81.

** Впервые опубликовано в составе статьи: Вайман Н. Бесстрашие беспомощности // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. В тексте публикации — «I full lonely».

Bird» и особенно — её самую знаменитую песню, «Sympathy» (1969):

Now when you climb
 Into your bed tonight,
 And when you lock
 And bolt the door,
 Just think of those
 Out in a cold and dark,
 Cause there's not enough love
 To go round...*

Подобное настроение описано в повести одного из духовных отцов американской контркультуры Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951), которую Файнерман очень любил. Известно оно было и дзен-буддистам, а дзенем Файнерман (как, впрочем, и Сэлинджер) увлекался на протяжении десятилетий. Из позиции сочувствующего одиночества писала и Сильвия Плат (1932–1963), которая жила тогда же, когда и лидеры контркультуры, хотя к ней и не принадлежала. Плат была одним из самых близких Файнерману поэтов — возможно, потому, что, как и он, всю жизнь боролась с тяжёлыми депрессиями.

В 1970-е годы сочувствующее одиночество приобрело актуальный социальный смысл, особенно в СССР. Было всё труднее хоть в чём-то соглашаться с окружающей действительностью в условиях, когда возможности для любого социального действия (кроме самого отчаянного) были заблокированы, «большие идеологии» — дискредитированы и совсем близко обозначился «конец перспективы» (И. Бродский). Людей, чувствовавших одиночество, стало больше. Более того, для многих авторов неофициальной литературы потребность в «сочувствующем одиночестве» стала новым исторически значимым императивом. Проще всего тогда было воспринять советскую действительность только как морок. Куда труднее — как мир, полный насилия, где нужно искать «детей во ржи», которые могут каждый миг оказаться на краю пропасти.

Большинство тогдашних авторов неподцензурной поэзии и прозы воспринимали новое самоощущение как основу для альтернативной социальности — «социальности одиночек» (М. Айзенберг)**. Файнерман принадлежал к тем немногим поэтам, кто психологически радикализировал эту ситуацию и счёл, что для достижения свободы необходима, пользуясь языком М. Бахтина, социальная «внеаходимость», стирание самой возможности определённой социальной позиции.

Эти немногие, насколько можно судить, были объединены общим интересом к англоязычной контркультуре и/или к предшествующей ей модернистской традиции. В первую очередь следует назвать московских «сверхтихих» лириков из литературной группы «Список действующих лиц», названной так по имени подготовленной ими в 1982 году самиздатской антологии: Марина Андрианова, Иван Ахметьев, Борис Колымагин, Михаил Новиков, Андрей Дмитриев. В эту группу входил и Файнерман. Их невольным «братом по разуму» оказался ленинградский поэт Сергей Кулле, скорее всего, в ту пору ничего не знавший об

* «Когда ты влезаеть / В свою постель вечером / И когда ты запираешь дверь, / Подумай о тех, / Кто в холоде и темноте, / Потому что на земле / Недостаёт любви» (вольный пер. М. Файнермана; точный перевод последних двух строк — «Потому что здесь слишком мало любви, / Чтобы её хватило на всех»).

** Айзенберг М. Некоторые другие. Вариант хроники: первая версия // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М., 1997.

их поисках. Практикуемое ими «стирание» социальности больше всего напоминало «тактики ускользания от господствующих дискурсов», описанные Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари в философском диптихе «Капитализм и шизофрения» (книги «Анти-Эдип» и «Тысяча плато»), однако если Делёз и Гваттари уповали на торжество воображения, то наши отечественные «ускользатели» находили спасение в бесконечном обострении внешней и внутренней наблюдательности, в фиксации максимального количества деталей видимого мира. Точно «подсмотренные» детали, словно бы взятые в скобки, отделённые от всего мира и рассмотренные под увеличительным стеклом, оказывались спасительными.

Впоследствии это внимание к деталям было принято за главный признак новой поэтики: авторов этого типа в 1990-е годы стали называть минималистами. Стихотворения авторов «Списка действующих лиц», в самом деле, часто короткие и какие-то невесомые, но свойственное этому литературному движению превращение наблюдений за миром в отдельные стихотворения-«вспышки» стало следствием, а не причиной нового самоощущения: по длине публикуемых здесь кловов Файнермана смело можно было бы назвать «максималистом», да и Михаил Сухотин, который учёл работу Файнермана и других авторов «Списка...» в произведениях 2000-х годов, иногда пишет весьма длинные поэмы.

По сути, все эти авторы вели в русской культуре работу, параллельную и альтернативную становлению русской рок-музыки. В её тени они и оказались. В русской рок-музыке 1970-х асоциальность и «сочувствующее одиночество» сформировали *новую идентичность* — религиозной и сентиментальной богемы. Лучшие произведения и группы ранней русской рок-музыки были основаны на стремлении эту идентичность преодолеть. Для их поэтических «товарищей по несчастью» непривязанность к месту, самочувствие созерцающего внешний и внутренний мир «бродяги» стали не социальной, а экзистенциальной проблемой и поэтому вообще не требовали создания какой бы то ни было общей, групповой идентичности. Этих поэтов, как неуловимого Джо из анекдота, никто не стал ловить, потому что они предлагали своим немногочисленным читателям действовать на свой страх и риск и не могли дать им ни новых образцов поведения, ни нового стиля речи. Их не только не поймали, но даже не особенно-то и заметили.

Во всём этом неслышном культурном движении Файнерман шёл дальше всех в культурной рефлексии: по-видимому, именно он первым понял прямую переключку новой поэтической психологии с религиозными и эстетическими идеями англоязычной контркультуры и первым сумел их полностью адаптировать в русской поэзии, найдя для выражения того, что его волновало, неочевидные ритмические, просодические и интонационные источники в отечественной традиции: кроме очевидных следов чтения авторов «лианозовской школы» — Евгения Кропивницкого, Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова, — в его стихах отзываются самые разные «миноритарные» традиции русской поэзии, от жалостного Николая Огарёва (стихотворение Огарёва «Umbrellas to mend!» по интонации предвосхищает Файнермана) до стоически-невозмутимых стихотворений Фёдора Сологуба, особенно позднего.

Поразительным образом в клате всего одного, 1973-го, года видно, как чувство, вроде бы просто перенесённое Файнерманом из англоязычных поэтических описаний, на глазах учится не только говорить по-русски, но и *видеть советское*, приноравливается к действительности «эпохи застоя», привыкает дышать каменноугольным воздухом. Окончательно, неотменимо социальным и диалогическим оно становится в последнем клате, написанном, насколько можно судить, на смерть Симона Бернштейна (1925–1973) — непод-

цензурного поэта и руководителя литературной студии при администрации Сокольнического парка в Москве, — к этой студии Файнерман принадлежал в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

Из сопоставления клотов Файнермана с написанными в 1990-е годы романами Пелевина становится понятным, насколько разной может быть литература, испытавшая влияние буддизма. Пелевин даёт мужество увидеть, что многое в окружающем нас мире — навязанное нам наваждение. Файнерман даёт слова, чтобы мы могли признаться себе: в этом мороке может быть нереальным всё, кроме одиноких сердец, которые ждут нашего учас-

Михаил Файнерман

КЛОТЫ

Стихи 1973 года

тия.

КЛОТ № 1

И если бы я знал
Что это так
Тогда
Я просто подошёл бы
Зная
Что всё просто
Всё человеческое — просто
Как руки
Протянутые сквозь жерди забора
К пыли
Как пыль внизу
Там
Где пальцы побелели от желания
Коснуться её
Чтобы стало прохладней
Хоть немного
Чтобы стало прохладней
Пыль
Всё прочее: гривы, страхи, ужас и пригоршни
Оставим кинематографу —
Они любят
Когда красиво
But do you see, beauty
Is not the aim
So
They have not beautiful
Or pleasant voices
They have
Loud ones
And shriek for everyone to hear

In gray valleys of rains
Там
Где копыта по щиколотку в пыли
Где вечно жёлтое: дай мне
Отдохнуть
Слишком
Высоко ты построил свой дом
Слишком
Я устал
Идти
Вверх и вверх —
Двух ослов не хватит
Поднять нас туда:
Солнце
К западу от вершушек
Деревьев
Гаснет
Дневная пыль —
Дай мне
Опустить ступни
Видишь:
Руки
Протянуты в небо
Пальцы
Расширены, как зрочки
У охотящегося за страхом
Небо
Серое и голубое —
Хватит
Его на вечер?
Хватит
Ради Бога, хватит
Ты видишь:
Здесь всё колючки —
Вечно
Растут здесь
Вечно
Но мы привыкли
Пусто
Но мы привыкли
Как вы привыкли
К своему пусто
И что утром — утро
Как ваши руки —
К тому, что небо

Закроет их
Когда вы ляжете
Вниз
И шерсть верблюжьего одеяла
Покажется жёсткой
И протёртой —
Берегите
Наших верблюдов
Знаете
Мы были с ними очень дружны
У нас ведь земля плачет
Днём —
Трескается и плачет
Из трещин
Выступает жёлтая жидкость
А ночью
Всё зарастает —
Мы привыкли
Но мы хотели
Попросить вас
Если можно
Сыграйте, пожалуйста, нам
На флейте
Что-нибудь
В ми миноре
Мы очень любим эту тональность
Если можно, конечно
Вы сыграете?
Когда стемнеет?
Вы доставите нам редкое удовольствие
Ведь мы так давно
Привыкли всё к жёлтому...

Февраль 1973

КЛОТ № 3

Наши жёны умерли
Когда мы были ещё детьми
И лепили гробницы
В которых легко мог бы уснуть
Жук
Или бабочка
Но уж никак не мёртвая женщина

Тихонько сложившая руки
На платье
Из тонкого ситца
На минуту уснувшего
Ветер
Не треплет его
Он осунулся, ветер
Синий цвет и немного листьев
Вот всё, что нам надо
Остальное —
Просто лишнее
Синее платье из старого крепа
Всё, что нам нужно
Ситец?
Что ж, пожалуй
Я не хочу навязывать вам своё мнение
Вам виднее
Они просто умерли
Когда мы были ещё детьми
И носили шапочки из чёрного бархата
В память
Наших умерших жён
Церковь её
Поставьте поближе к морю
Чтобы волны были слышны там
Когда отпевать
Станут
Когда маленькими шажками
Она приблизится
К свету
Смотрите —
Листик железа в её голосе
Листик с рождественской ёлки
Как он поёт
Он готов рассказать
Всё — с самого начала
С самого дна — он достанет
Свечку истинного представления
О том, что ушло
Потому
Что я родился на сорок лет позже
В чёрное
Выкрасьте шпиль церквей
А воробьёв пустите
Петь во дворах на деревьях

Во славу того, кто копал ей яму
Из жёлтой земли
Он хмурился — должно быть, просто нарочито
Но прочувствованно
Мы не просили его плакать
Кто не умеет — не надо
А кто не хочет...
Да, кто не хочет?
Он был тих — и дождик
Капал коричнево-тонко
И плакал автомобиль во дворе
Подвывая
А я нет —
Зачем?
Они умерли
Когда мы были ещё детьми
И знали до странного мало
Про чёрный бархат
А о болезнях
Только то, что ветер проносит их
Сквозь раскрытые окна
А уносит
Через красный огонь в печи
Красными
Стали простыни
Мы забыли
Когда
Были детьми
А они — они умерли ещё раньше
Так что не стоит расспрашивать
Тем более огорчаться
Или петь грустное
Зачем?
Всё весело
Всё просто и весело
Крайне весело
С краю
Сидят они
От белых ламп
Фотограф на редкость услужлив
Он улыбается — и
Как говорила старая дама
Пристойно
Пристойно поёт
Вот как это звучало

В коридорах
 Где окна только с одной стороны
 А с другой — синяя линия
 Вдоль длинной стены
 И жёлтое всё объясняет
 В том числе и правила явного тона
 Принятого в наших местах
 Там
 Где пара горшков с цветами
 Немного оживляет пейзаж
 Вырезка из газеты
 Лежащей тут с прошлого года
 Лето
 Вокзальная тишина
 Лёгкие шпалы
 Замкнутое железо
 И что-то грустное
 Такое
 О чём хочется писать в дневнике
 Они умерли
 Так что
 Не надо
 Говорить резко
 Не надо
 Лучше потом...

Февраль 1973

КЛОТ №6

И постепенно становилось больно
 Постепенно
 Смешно —
 Нелепая ситуация
 И под лестницей — дым
 Синий
 Зачем ему цвет? —
 Лучше
 Перенесите его в подъезд
 И ещё лет на восемь
 Назад —
 И лужи
 Немного ребристей
 И голубей

Под солнцем
И пара опок
И дым от земли
Чёрт знает что — кто бы мог подумать
Но кто бы мог
Не думать
Здесь
На моём месте
Под лестницей
Под шагами
Кроты роют ходы
В формовочной земле
Ногой по опоке
До крови
Чтобы стало больно
И одна боль
Вытеснила другую
И — my city
My beloved
My white
Ah, slender
I can't breathe
I can't play
Neither can I see any silver* —
Чтобы одна боль
Вытеснила другую —
С четвёртого этажа — ты не верила
А это так
Насмешка из-под кудрей
Голубые вагончики почты
Куры в траве
Дым, облака, трубы
Не на чем остановиться
А надо —
Чтобы быть, как все
Живым
Иначе —
Ты видел:
Кожу вперёд — и сверлом по кости
И холод
Нет!
Что — нет?
Ну хорошо, нет

* My city, my beloved, my white! / Ah, slender... — первые два стиха из стихотворения Эзры Паунда "N.Y." Следующие английские строчки полемически отрицают последующее содержание текста Паунда. — *Прим. ред.*

Раз тебе легче
Думай, что нет
Всё равно твоё нет
Ничего не меняет
Но — веселее
Так вот для кого
Я всё это готовил?
Для себя?
Но я знаю всё это
Тысячи лет —
Не надо так
Про абсурдность
Это грустно
Как первые поэмы
Так вот
Он ходил
Куда-то — изучать жизнь
И смеялся
И говорил: умно
Можно говорить о пустяках
Не говорите со мной об умном
Говорите о пустяках
Все эти книги...
А столы — всё те же
Что тогда
В 67-ом
Когда я пришёл впервые
Невероятно —
Если бы я оставил
Какой-нибудь знак — сейчас
Через шесть лет
Я нашёл бы его
А ночи всё так же безлюдны
В городе снов, а перила
Так же безмолвны
Только я вот разговорился
Что-то
Нелепо и нехорошо
Что ж, я не спорю
Зачем спорить
Все, с кем я спорил, теперь стали взрослыми
И получают зарплату
И вряд ли помнят уже
Что — и о чём
Но вот, я уверен — это

Осталось:
Школьная форма
Последняя
Новой не будет
Не надо
И скоро
Всё кончится
Как кончается лето
Как кончается осень
Ветка
Какая-то глупость
И песни поют
И так по-давнишнему
Сладко
Что, опять-таки, хочется плакать
А рядом песни поют
И качается белая ветка
А в поле — грязь и глина
И в лесу — вода и холод
А рядом песни поют
Поют
Поют
Их поют...

Апрель 1973

КЛОТ №8

На фоне обыденности
Вероятно
Многое могло бы показаться нам
Станным
И потому привлекательным
А сама обыденность —
Тусклой
И нехорошей
Но ты —
Ты знаешь
Что только в рамках обыденности
Возможно существование
Как ты его себе представляешь
С четвёртым этажом, лестницей
Водопроводом, видом из окна
Удовольствием утром купить газету

И, развернув, убедиться
Что ничто не меняется
И, значит, вечером
Ты снова ляжешь в постель
Больше того — только в этих рамках
Ты можешь жить
Что-то меняя
Как ты говоришь — к лучшему
И получая — как ты говоришь
Удовольствия
Ведь кроме них
Кажется
Нет ничего —
Пустота
Ибо
Как говорил Учитель
Ослабление страдания — изначальное удовольствие
Простое
И неотъемлемое от нашей природы
Что мы, когда нам больно?
Крик
Крик сквозь рвоту из желчи
Только
Не больше
Нелепо обожествлять страдание
В нём только боль — «я говорю вам:
Сделайте людей счастливыми
А несчастья себе они придумают сами...»
Да, только разум
И только сочувствие
Ничего кроме
И кроме
Ибо кто говорит: Бог
Говорит: Я
И кто говорит о любви к Богу
Говорит: я люблю себя —
Отчуждённого
Но всё же опять
Себя —
Суть удовольствия просто в том
Что оно вытесняет мысль о бессмысленности —
Мы не могли не узнать
А узнав — не можем не думать
И можем — не думать
Но не иначе, как вытесняя

Чем-то достаточно мощным
Чтобы очистить мозг
От того
Чем низкие так кичатся:
«Жизнь бессмысленна!»
Что ж тут такого, что жизнь бессмысленна?
Я мог бы сказать ещё убедительнее
И ещё более
Разочаровывающе
Но разве я хочу
Разочаровывать?
Единственное
Что имеет цену —
Жёлтое и голубое
Просто — две книги и статуэтка
Всё —
В этом всё
То есть всё, что приходит на помощь
Ибо я говорю о помощи
Я говорю для тех
Кто хочет понять —
И избавиться
Для тех, кто несёт камень
И хочет его сбросить
И боится
Что падая
Камень убьёт их
Или —
Нечто ещё ужаснее
Нет!
Вы сами учили поднять его
Вы просто забыли —
Вспомните!
Не с вами ли мы затевали всё это —
Строили системы рычагов и скручивали верёвки
И раздували солнце
Над египетскими холмами
Не ты ли принёс змею
И не ты ли — синицу
И не твоя ли рука показала впервые — там
Восток
Мне хотелось бы так же вместе
Освободиться
Ибо я был один, когда
Я начинал всё это

И, знаете
 Немного высокопарности —
 Это не помешает
 Мы, кажется, верим
 Человеку, утрирующему жест
 Даже больше
 Скорее всего, именно в силу утрировки
 Как верили Жозефине
 Нашедшей верную позу
 Помнишь:
 «И каждую ночь они строили мост
 Чтобы утром перейти по нему в завтра
 И на это уходили у них все ночи
 А дети носили дерево
 И пели при этом: расти зелёным
 Расти зелёным, камыш...»

Апрель 1973

КЛОТ №11

И вот, мир
 Голодных собак
 Голодных
 Бегущих в темноте между фонарями
 И морем
 Темноты
 Падаль
 Листья
 С видом позднего раскаяния
 Свисающие языками
 Вниз
 Зелёное: я-вас-не-вы
 Пропадите
 Пропасть
 Через пять столетий
 Я-вас-вы-не
 Переверните его в земле
 Через пять столетий
 Кости — трупного цвета
 Белого — я боялся света
 А теперь не боюсь
 Я боюсь слов
 Я боюсь всего

Что может быть понято как детство
И — я
Не могу не быть таким
И, в общем-то, не хочу
Я не хочу ничего
Кроме руки, ведущей
Через дюны — туда, к дороге
Тонкой руки, тонкой
Я думаю только об этом
О тонком
А вы всё своё: не-не-а
Не буду вас слушать —
Злость прошла
Прошла зависть
Пришло спокойствие
И таблеточная сонливость
Но я допишу
Хотя бы глаза закрылись
Вслепую
Я допишу
Я напишу всё, что знаю
О мире голодных собак
И плачущих импотентов
Я напишу вам ещё об озере
В 65-ом
Я напишу — я сумею
О пнях, о деревьях — но только
Не надо сейчас о тюрьмах
Обо всём таком — я знаю
Но не сейчас... — пижама
Атрибут покоя, больницы
Помнишь, как он сходил вниз
Единственный раз — он боялся
Санитарок и робко спрашивал:
Можно?..
И выходил ко мне
Симон, ты скоро будешь дома
Мы снова будем смеяться, Симон
Нашей глупой еврейской мудрости
И идти — куда ты, Симон?
Подожди, это царство мёртвых
Подожди, надень же хоть что-нибудь
Ты дышишь уже через трубки
Это они умеют
Кислород —

Этому их учили...
 Стёкла, январь, слёзы
 И я — *ничего не могу*
 Идиотское — АНТИКОАГУЛЯНТ
 Симон, ты слышишь, Симон
 Sometimes when summer is over the land*
 Ты не знал этих стихов...
 Ты помнишь — мы говорили:
 Стихи — и немного неба
 Вот и всё, что нам нужно — только
 И чай, и пара улыбок
 Мы все ненормальные, к счастью
 Кто больше
 Кто меньше, Симон
 Возьми и меня, я хочу
 Узнать — я потом уйду
 Но только
 Без трубок
 Я хочу дышать своей собственной глоткой
 И знать
 Что когда *не придётся*
 Я взрежу её — и спокойно
 Пойду за тобой — ты думал
 Они что-то знают — чужак
 Не знают
 Они не знают
 Этого не знает никто
 Не то что там Мооп
 Белые плиты, ровные камни
 И место — за номером
 Ты получил свой номер
 Ирония — ждал одного, получил другое
 Всё — только цифры
 Атомы — и пустота
 Я хочу увидеть тебя
 Только тебя — её
 Я уже не хочу — почему
 Она есть, а ты...
 Да, я пишу для себя
 Да, есть хорошие люди
 Да, есть мудрые мысли —
 Но трава не растёт, где камень
 Треснул — восстань же, Симон
 Ты помнишь — стол, чайник

* Строка из стихотворения австралийского поэта Брюса Дэй "Soliloquy for One Dead". — *Прим. ред.*

«Только свежей воды» —
Господи, какая разница...
И телефон — как рожок
Чёрный — и невесомый...
Давай сосчитаем зори
Которые нам остались
Все — все, которые ты знаешь
И которые знаю я
Как наши — те — «документы»
Чего нам бояться — над нами небо
А под нами — вечная смерть
Вечная
И оттого нестрашная
Подожди, я сейчас, Симон
Симон, я иду к тебе...

Сентябрь-октябрь 1973

Публикация Бориса Колымагина

А Т М О С Ф Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

СТАТЬИ

Евгений Сошкин

РАСТРОВЫЕ ПОЛЯ

К изданию книги Г.-Д. Зингер «Хождение за назначенную черту»

«памяти незабудки»

Название стихотворения Г.-Д. Зингер

Для входа в систему Гали-Даны Зингер нужно ввести код доступа. Единого кода не существует — система хорошо защищена. Все коды — частичного доступа и все они, возможно, временные. Я подобрал только один, прошёл по одному из маршрутов и рассказал о том, что я увидел.

Гали-Дане милы подробности; она укрупняет фрагмент картины, сохранённой памятью, и внимательно рассматривает каждую деталь. То небольшое, чего она не помнит, имеет чёткие координаты на растровых полях её памяти:

Я не забуду книжную закладку,
где жёлтый круг и синий треугольник
с квадратом красным снова повторяли:
один плюс три равняется четыре,
и клейстером, размазанным соплём,
я это утверждение скрепляла,
вселявшее уверенность в законах
небесной землеметрии не меньше,
чем мнимая возможность написать
«я помню» на тетрадном листке.

Я пенку на какао не забуду,
я не забуду Элю Головку и Пальчикову Иру,
однойцовых Сашу и Наташу,
двух Жень, один — Лукин, второй был — Маркин,
Лилию Баруллину и суп с перловкой,
я даже вспомнила фамилию двойняшек,
но хоть убей, не помню имя воспиталки,
их было две, но всё равно не помню.

Я не забуду дедку с бабкой репки из фанерки,
я помню гордость юной пионерки,
проследовавшей мимо — на урок.
Я буду помнить запах валенка в галоше
и лифчики с чулками на подвязках,
и каравай, и гуси-гуси,
и как мы в ряд сидели на горшках <...>

Но повторявшийся неоднократно
мой сон под скрип и скрежет раскладушек:
кубы и конусы, шары и пирамиды,
которые я вынимала из-под ног
и друг на друга ставила всё выше,
карабкалась и снова громоздила,
и каждый из объёмов необъятен
был и казался мне планетой, нет,
планидой, нет, мирозданием, удержанным
в полёте в одной единой точке колебанья,
но этот сон я помнить не могу.

«В начале жизни помню детский сад...»

Зацикленность на прошлом — от неспособности к забыванию. Неспособности, уничтожающей настоящее как форму присутствия. Мы знаем это по опыту литературного героя — Фунеса, а также реального мнемониста — Соломона Шерешевского, чьи эйдети́ческие проблемы выразительно описала Р. Лахманн: «Кто запоминает всех и вся, тот забывает порядок мироустройства. Катастрофа, постигшая Ш., коренится в акте вспоминания, который буквально катапультирует Ш. из границ словесного и предметного порядка. Мнемонист как бы падает с некой вавилонской башни сигнификантов, построенной его неумолимой памятью. Мир крошится на тысячи частичек и оседает в сознании как синтаксически неорганизованная масса, делающая невозможным распознать действительные взаимоотношения между объектами. Семантическая гармония между прошлым и настоящим нарушена, гиперсемиотические явления препятствуют созданию новых моделей и знаков, поскольку мания сохранения уже имеющихся в памяти знаков ведёт к выкристаллизации какого-то вторичного мира, перекрывающего в конечном счёте первичный»*.

Один из текстопорождающих механизмов поэтики Зингер аналогичен механизму запоминания, создающему деиерархизированный мир мнемониста. В его мире детали прошлого как объекты запоминания разлучены друг с другом своими сигнификантами, wybranыми по принципу омонимического сходства. Да и реальность самих запоминаемых объектов скомпрометирована референтами их мнемонических пар:

...а ещё был пряничный домик
его постепенно не стало
сперва отбилась труба и мне сказали

* Лахманн Р. Семиотическое несчастье мнемониста // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. — Тарту, 1992. — С. 13.

что я совсем отбилась от рук
 потом облупился наличник но меня не лупили
 а в пряничном доме хранились две шляпных булавки
 куча пуговиц и кольцо
 где лунный опал
 а потом он упал но не разбился разбилось только крыльцо <...>

«4-е письмо к Оне»

Память о прошлом, которую мнемонисту не дано смыть летейской водой, поражает систему языка, в свой черёд начинающую распадаться на ряды макаронизмов и омонимий. Ивритское словосочетание *сфат ха-эм* (*материнский язык*, т.е. родной язык) запускает механизм запоминания, который, по причине своей гиперфункциональности, увлекает мнемониста в лабиринт воспоминаний:

Русский нужно впитать из плаценты,
 не с молоком тульской крестьянки,
 не с молоком Мадонны Литта,
 не с молоком ленинградской подруги
 и не с молоками ленинградской салаки,
 не с мышинным помётом Тарусских страниц,
 не с Машинным мылом,
 не с машинным маслом на листе Ленинградской правды,
 где КПЗ с КПСС и другие полезные коэффициенты,
 не с мослом пролетарского слова мамаша в устах салаги.
 Тут важно верно сместить акценты,
 а после крошки смести с клеёнки:
 когда-то мама мыла раму
 и в тапочках на босу ногу
 на подоконнике стояла
 на ленинграде на вечернем
 под босса-нову от соседей.
 уже не холодно, халатик
 на ней в горошек развевался —
 она такой кладёт в салатик
 оливье.
 <...>

А ещё была пудреница с Международного фестиваля молодёжи в Москве.

«Лета»

Языковые нарушения, которые в логическом пределе ожидают мнемониста и в которых заключается, может быть, самый узнаваемый из приёмов зингеровского письма, уникальны тем, что они сочетают два противоположных типа афазии, чьи признаки в классическом описании Р. Якобсона находятся в дополнительной дистрибуции*. Дробя целое на

* См.: Якобсон Р. Лингвистические типы афазии // Он же. Избранные работы по лингвистике. — Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ. — С. 291-293.

части, мнемонист присваивает каждой из них самостоятельный ассоциативный контекст, обычно посредством омонимии; тем самым он утрачивает исходный контекст целого и становится жертвой эфферентной афазии (она заключается в нарушении комбинаторной функции — потере грамматического контекста при сохранении его компонентов). Но затем вспомогательные члены омонимических пар, никак не связанные между собой, могут произвольно обмениваться местами с исходными компонентами, так что уже неизвестно, который из них является сигнификатом, а который сигнификантом. Подобная ситуация соответствует уже сенсорной афазии (заключающейся в нарушении селективной функции — потере компонентов при сохранении грамматических связей), с той, однако, разницей, что исходный компонент вместо того чтоб исчезнуть теряется среди собственных подобиий.

Прямое следствие незабывания — невыход из детства*. Он же и спасителен, поскольку ребёнок ещё не прикован к линейному времени принципом селекции:

Нет, ты не можешь сказать
и то, и это.
То и это ты можешь
только думать.

Между шёпотом, ропотом, дуэтом
и
соло, соловьём, белым шумом,

между опытом, потопом, наветом
и
суховеем, невинностью, самумом

надобно поэтому выбрать,
следуя доброму совету.
Что ты на это ответишь?

Дайте мне, пожалуйста, подумать.

«Чур уговор (II)»

Ребёнок свободно входит туда, куда не втиснется взрослый:

...выражения
значение коих не определить
отдельными значеньями частей
всё врут родители
к тому же часто им ошибаться свойственно <...>

«С большим трудом читая Дунса Скотта»

* Ср. понимание анамнезиса — в талмудическом ключе — как возвращения в младенческое состояние у Й. Йерушалми и, вслед за ним, у Р. Лахманн (см.: Лахманн Р. Память и утрата мира: «Мемориозо» Борхеса — с намёками на «Мнемониста» Лурии // Немецкое философское литературоведение наших дней: Антология / Сост. Д. Уффельман, К. Шрамм. — СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2001. — С. 377).

Но оттуда, куда ребёнок вхож, то есть из потайных коридоров языка, только и видна истина, заслоняемая языковой нормой, — истина лжи, её изнанка:

— Я знаю, — сказала Анечка, —
 это когда гражданин ложится на женщину.
 — А ведь и правда, — восхитилась Нюра, —
 такая маленькая, а уже всё понимает.
 — Правда, — сказала Анечка, —
 это такая газета. Правда бывает разная:
 ленинградская, комсомольская, Правда Востока — Дер Эмес.
 После этого, — сказала Анечка, —
 гражданин не должен поворачиваться спиной к женщине
 и читать газету. Сначала он должен ласково потрепать её по плечу
 и только после этого осторожно пройти в уборную и уже там
 начитаться.
 <...>
 — Тебя послушаешь и жить не захочешь, — сказала Нюра
 и хлопнула дверью.

«Это»

Как видим, принципы языковой игры, составляющие важнейшую специфику поэзии для детей, Гали-Дана Зингер в полном объёме переносит в стихи для взрослых, написанные как бы с позиции ребёнка. Достигаемый эффект отчасти роднит её эстетику с искусством Гая Мэддина, в чьих фильмах старение мира катализируется с помощью детства кинематографа.

Мгновенное событие, вроде удара током при попытке перелезть за ограду райского сада, хранит в памяти субъекта свой нерастраченный заряд:

отчего же папа ты зарделся
 рассердился когда я огрызок
 обглодать тебе сунула при людях?
 что же в этом было плохого?

«мокрая курица не птица кура ни рыба ни мясо...»

Реконструкция травмы, если верить учебнику, позволяет выйти из-под её влияния, переступить садовую ограду, научиться забывать то, что было вытеснено услужливыми сигнификантами. То, что Шерешевский стремился забыть, он записывал*. По той же самой причине поэзия Гали-Даны Зингер — это поэзия прежде всего письменная. Она возвращает нас к самим истокам письменной поэзии как магической техники, позволяющей рапсоду забыть.

* А затем выбрасывал или сжигал бумажку. См.: Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти: Ум мнемониста. — М.: МГУ, 1968. — С. 40-41.

Анатолий Барзах

ПИСЬМО О ГЛАГОЛАХ

Аркадий Драгомощенко «Искусство войны»

Да, ты (переадресация) права, это «молчаливое чтение» (которое вряд ли и существует вообще, раз молчит) обидно и почти оскорбительно. В том числе и для меня как потенциального читателя (тогда уж, чуть забегая вперёд, «зрителя» текста). Не соглашаться с молчанием — своего рода долг (кому?). Преодоление неизживаемой травмы. Читать (по крайней мере, для меня) можно только письмом. В ответ. На — встречу. Так что я «по определению» молчалив быть не могу — если действительно хочу нечто прочесть. Встретиться.

Но тут ситуация даже серьёзнее: я подозреваю (ни в коем случае не навязывая своих «установок»), что тексты, подобные этим, не вполне и существуют вне «чтения-письма». Я не очень-то верю в возможность «простого» чтения этих текстов, точнее, в возможность их переживания как таковых. Это иная поэзия (безоценочно): если раньше я полагал, что «поэтический предмет», иное бытие, рождаемое поэзией, — это, в конечном счёте, переживание (пускай и с выносимым за скобки субъектом), то здесь это явно не так. Возможно, я потому и обращаюсь вновь к стихам Аркадия (не будучи, признаюсь, их «любителем»; вкусовые пристрастия слишком зависят от таких, скажем, «мелочей», как поэтический репертуар отца, читающего стихи малолетнему сыну на пляже в Одессе), потому — помимо, естественно, «соседства», — что чувствую здесь хотя бы возможность — хотя бы иллюзорную возможность — иной, «чужой», более «охлаждённой» поэзии, не имеющей непосредственного выхода/входа в «переживание» или, во всяком случае, существенно его редуцирующей.

Более того (и обе эти тенденции взаимосвязаны): эта поэзия явно стремится выйти из-под опеки структуры как таковой: её структура, если всё же рискнуть говорить о ней, — это структура саморазрушения структуры. Что, повторю, мне не близко (особенно первое: с саморазрушением, как ты знаешь, у меня более сложные отношения) — но тем настоятельнее потребность проникнуть, проникнуться. Войти внутрь. (А значит, увы, пережить.) Помимо всего прочего — это вызов иного, желание (эрос) — и невозможность — стать иным. В сущности, та же неизживаемая травма.

Я не стану опять писать развёрнутую статью с очередным «разбором» одного стихотворения. Коль скоро дело это представляется мне достаточно важным — а на кону (для

меня) не больше и не меньше, чем существование (с предусмотрительным опусканием ответа на вопрос «чего?»), — я хотел сообщить предполагаемому «разбору» ту внутреннюю незавершённость, неокончателность, поливалентность, что является почти родовым признаком поэтического (знаменитые мандельштамовские «пучки смысла»).

Претензия языка описания на метауровень, и так-то сомнительная, поскольку (по-моему) поэзии вообще нет без автореферентности, любая поэзия, в конечном счёте, — это поэзия о поэзии, — эта претензия в случае текста, подрывающего переживание и его структурные эквиваленты (каковой текст, я полагаю, перед нами), становится грубо неадекватной. Если раньше, уже сомневаясь в продуктивности любого «мета-», я пытался «ввести переживание в ткань анализа», «воспроизвести в анализе структуру анализируемого» (и тем самым, по меньшей мере, апроприировать поэтическую автореферентность: настоящий анализ поэтического — это, в конечном счёте, анализ этого анализа), то здесь эти установки почти обесмысливаются: когда переживание поставлено под вопрос, а структура стремится к саморазрушению. В этих условиях приостановка развёртывания, удерживание не выявляемых до конца возможностей, речь, не вполне сама себя понимающая и противоречащая сама себе, — то есть, фактически, саморазрушение анализа, — имеет хотя бы шанс на «солидарность» с «анализируемым» текстом. Что с неизбежностью, как сказано, означает фиаско: анализ не имеет на это права. Разве что его неустрашимое внутреннее несогласие с самим собой, со своей «леностью», его постоянное нарушение собственной добровольной аскезы может дать хотя бы иллюзию «оправдания».

Нет, «тезисы» мои могут быть при некотором усердии «распространены», суждения — более основательно фундированы, и т. п. — но при этом после «разбора» возникнет, будет «собран» некий новый объект: такова судьба любого добросовестного анализа, очерчивающего в лесу возможностей строго ограниченное число дозволенных тропинок. В данном случае — вдвойне. (Не таковы ли были и прежние мои опыты?) Быть «недобросовестным», увы, проще. Эта «моральная» коллизия весьма меня смущала, и я противился самонавязываемому императиву недодумывать, недоформулировать. Тем более, что количество так или иначе недодуманных «анализов» неизмеримо превышает количество настоящих «работ»: и оказываться в той компании мне как-то неуютно. Это-то и даёт искомое «моральное» оправдание: подобная «политика» противна моему складу, равнозначна признанию поражения — стало быть, не столь уж и «проста» для меня, рискованна куда в большей степени, нежели естественное следование «принципам». Кроме того, и по существу — ведь поражение здесь изначально неизбежно: иное не станет своим — а в отношении этого, слишком чужого текста, тем более. Не честнее ли сразу это признать и сделать признание это, поражение «формообразующим»?

Как бы то ни было, я всё равно буду считать предлагаемую «непродуманность» недопустимой ошибкой, хотя, не исключаю, и «честной» ошибкой, — и именно потому и сохраняю её, — не из-за честности, нет, из-за ошибочности, из-за неудачи — по мере, конечно, возможности, — потому что, честно говоря, удержать чаемую невнятность в полной мере заведомо не получится. (Дополнительной компенсацией — пускай и с изрядной долей самообмана — служит для меня вот эта самая, вполне, в общем, «связная» и по объёму превосходящая собственно «разбор» автореферентная преамбула.)

Аркадий Драгомощенко
ИСКУССТВО ВОЙНЫ*

Всегда видеть эти холмы, всегда — реки.
Я также видел муравьёв и самого себя,
Который видит это, когда пишу о зрении и холмах.
Но когда и где увидеть? Скорость света стоит
Камнем с надписью в воздухе. И предплечья,
Глаза медлят, горло терпнет, как съесть много мяты.
И пыли не коснёшься концами пальцев, как всё будет.

Первый глагол (второе слово стихотворения) — «видеть» (инфинитивная поэтика, см. Жолковский: неполная определённая смысловая модальности, её ветвление: размытая длительность, императивность (оттенок будущего?), настоящее «всегдашнее» (уточнить лингвистический термин) — тут это ещё и педалировано «всегда видеть»). Следующий глагол: «видел» — мгновенный сдвиг модальности на однократность и пассивность (и локализация в прошедшем, слегка фальсифицированная повторностью «также») — но ещё чуть дальше уже как будто настоящее (любопытная траектория: «будущее», прошедшее, «настоящее», отметить) — «видит», «когда пишу»: автореферентность — но это не-настоящее, несуществующее время, время «писания» текста, которое якобы восстанавливается в качестве «сейчас» при каждом прочтении, т. е. и не время вовсе.

И сразу же вслед: «Но *когда* и где *увидать*?» — под вопрос (уже буквально) ставится именно время (равно как и пространство, т. к. одновременно даны «холмы», «муравьи» и self — нефиксируемый масштаб: распределённая точка зрения) — визуальность как мера — нет, не мера, как некая сердцевина времени, или его подрыв — визуальность, как подвергание времени вопрошанию (Лессинг?). С пространством то же самое, но это почти тривиально, хотя и необходимо. Ключ (?) — глагольная форма «увидать». Не — «увидеть». Смысловой (?) сдвиг, проводимый единственной буквой суффикса. «Увидеть» — совершенное, совершённое, опространствованное, фиксированное; это съёживание времени, момент, у которого есть «до» и есть «после». Разинутое зияние «а», деградирующее свершение совершенного. Вместо узкого, режущего, отрезающего «е». Вместо совершенности — остановка, пропадание, воронка отверстого рта (а не глаза, о котором): «Свет стоит» (Мандельштам) — здесь «скорость света стоит»: усиление подчёркивания аннигиляции, зияния времени (саморазрушения в глагольных формах), абсолютная нефизичность: свет-то ведь и превращает пространство во время (или наоборот? единица измерения пространства — световой год). Теория относительности в трёх словах: свет стоять не может. Скорость света безотносительна, всегда только 300.000 км в секунду. Не говоря уже о том, что скорость стоять не может — любая, не только скорость света: «бессмыслица», ещё один «камень» в здание разрушения. (О времени: сказать, как Аркадий относится к правке старых стихов.) «Камень света» — камень, что отвергли строители и что будет во-дружён «во главу угла», краеугольный, замковый — овеществлённое зрением (светом, тождественным зрению) время — и непроницаемость, т. е. непроглядность, твёрдость, твердыня — во главу угла иного, нового, внепространственного и вневременного (и нефизи-

* «Знамя», 2009, № 8.

зического — читай, не-действительного) бытия (что сказал бы на это Кант с его априорностями? почти что вещь-в-себе, без лишь сознанием порождаемых, по Канту, времени и пространства), бытия, к которому путь заказан, в которое путь заказан — так бы вот, примерно, и сказал (не забыть о «надписи в воздухе», письмо, о письме: «vietato attraversare», наверное, — на платформе, письмо вместо встречи).

Камень, кстати, тоже Мандельштам: в той же саморазрушительной перспективе, поскольку «свинчивается» несовместимое: каменнословные «Стихи о неизвестном солдате» и «нежный» ещё «Камень» — время изъято, и они только так и могут совпасть, разрушая и «эволюцию» и «революцию», в экстрагированной развременированными глаголами визуальности, которая вытеснена не только из времени и пространства, не только заштрихована шершавостью «камня света», но уходит из глаз в горло («горло терпнет»; не очень ловкий неологизм, между нами), в пальцы («коснёшься концами пальцев») — опять Мандельштам. («Концами пальцев» — ателесная нота, не «кончиками» ведь, телесность тоже под вопросом, это не совсем переживание тела — см. дальше о субъекте.) Визуальность уходит не на периферию только («пальцы», «предплечья»), но и внутрь тела, во вкус («мята») и осязание горла. (Ещё не забыть марризмы «Путешествия в Армению», «глухэ».)

К «все-» и «вне-временности» — финальное, итожащее «всё будет». (О заглавии: полетос? ах, какой пассаж, Аркадий только что прислал ссылку: Сунь-цзы, «Искусство войны», глава VI — прямо эпиграф!)

Ещё одно спряжение времени (обезвремливания) и визуальности: «глаза медлят» — глагол, кивающий на течение времени, но замедление здесь — субститут остановки. Остановки света: поэту «глаза». И «не коснёшься» последней строки — своего рода возврат к инфинитивности: тоже форма, временная модальность которой подвешена, с присущей инфинитиву, а тут лишь намекаемой императивностью, то будущее, которого не будет, по future (почти эквивалентная трансформация: «не коснёшься» — *«не коснуться»: но как важно, что её нет). «Всё-время» («не-время») первого глагола, глагола зрения вернулось в себя, трансформировав зримость в слепоту: ещё безнадежнее: слепой хоть коснуться «зрячими пальцами» может, а тут — «не». Причём смысл двух последних строк — иссякание времени, как бы: «не успеешь моргнуть — (язык требует глаз, текст даёт пальцы), — как наступит полнота времён, “всё будет”, плерома» — очевидный подлог, ведь «пыль».

И параллельное «распределение» субъекта (что связано с визуально-временным заморачиванием): неопределённое, «всехнее» «видеть», затем личное «я видел», вслед — отстранённое, «третьеличное» «который видит» (ещё хитрее: этот «он», это «третье лицо» не имеет истинно субъектной именительности — «видит»-то, «который»-то — это непроизносимый, аграмматичный «сам себя», «сам собой», «сам себ» ужасный), и, наконец, с интермедией настоящего, без тех «хитростей», но отстранённого в собственное тело, в «я», в первое лицо, лица третьего («глаза медлят», «горло терпнет» — участь корявость последнего неологизма, к непроизносимости, потому и горло; а неплохо: третье лицо глаз), — наконец, мнимо второе (второе-первое) лицо разлагающей, почти по Расселу, автореферентности: «не коснёшься». Вот именно.

...Ты хорошо оговорила давеча: «при чём тут стихи?» И хотя ты так, ясно, не думаешь (да и я, впрочем), сказано как нельзя кстати.

ВЕНТИЛЯТОР

ОПРОСЫ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Масштаб потерь, понесённых русской поэзией за считанные месяцы 2009 года, заставил нас изменить привычному формату этой рубрики. Мы попросили разных авторов написать несколько слов об ушедших, которых им будет не хватать, — не в мемуарном, прежде всего, ключе, а с точки зрения того, чем поэзия их героев задевала, поражала и обогащала.

Владимир Аристов

Уход поэта Алексея Парщикова означает потерю одного из световых перекрёстков, где встречались предметы, и смыслы, и люди. Для меня самого это означает утрату неповторимой человеческой спонтанности, которую он являл при каждой встрече, искусства невероятной мгновенной концентрации, направленной на радостное соединение или воссоединение вещей нашего разрозненного мира.

Нет, уже не только «депо метафор», но потенциальный «интернет вещей», где разрозненные части универсума обмениваются небывалыми кодами, они приоткрывают оболочки и входят в новое пространство совместного, хотя, может быть, и рискованного существования. «Дрожит гитара под рукой, как кролик, // цветёт гитара, как иранский коврик. // Она напоминает мне вчера. // И там — дыра, и здесь — дыра», — визуальные, тактильные, звуковые «топологические», абстрактные, шуточные смыслы собираются в этой игре на стихотворной гитаре, и она действительно расцветает множественностью возможностей по разным качествам соединяться с другими предметами, уподобляясь им или даже отождествляясь с ними, но не вытесняя их.

Воображаемый мир, мир его поэтической утопии был наполнен признаками и поэтическими реальностями реального нашего мира, собственно, мир его воображения был входом в мир реальности истинной. Мир глубоко, трагически необратим без настоящего просветления, которое может дать настоящая поэзия. Но и само описание этой реализации драматично. В его более поздних работах, например, в поэме «Нефть» этот драматизм достигает большой силы. Хотя носит он внешне сдержанный характер, однако избыточность означает здесь просто поэтическую свободу образов: «Ты ли выманил девушку-нефть из склепа в сады Гесперид белым наливом? // Провод ли высоковольтный в купальню упал, и оцепенело кино?» Драматургия — в самой сложной метафоре, в соединении человеческих действий и мифологических доносящихся волн, но это и простота созданного мира, где смыслы из разных мест сидят за одним столом и говорят не с недоступной высоты, не свысока по отношению к людям, — лестницы и сходни свободны, возвышенное и низ-

менное теряют свой затверженный смысл, всё ожидает нового и томится, потому что овеществлённое воображение подразумевает сверхинтенсивное и напряжённое бытие.

Полина Барскова

Поэту Льву Лосеву досталась самая не фривольная из муз — муза брезгливого внимания к явлениям жизни. Этот оксюморон в терминах западной философии был воплощён в тёмных сно-видениях Батая: поэту отвратительно видеть, но он наделён такой аппаратурой, что не смотреть не может. Ритмический и синтаксический его инструментарий отличается несравненным остроумием, но и при этой виртуозной формальной огранке — содержание не мерцает, а скорее тускнеет безжалостными гранями, предупреждая: не приближайся, не прикасайся, не входи — беги этих мест и игр, простодушный читатель. При яростном отрицании самодемонстраций Лосев апроприировал ход конём для себя-писания: как чрево вещатель, он говорил себя через другого. Поэтому такие его тексты, как «Бахтин в Саранске» и биография Бродского, представляются гибридами манифеста: таково назначение, устройство, место филолога в системе вещей, утверждает Лосев.

Место поэта быть не на своём месте, вне места, — от этого происходит конфликт *sine qua non* — без которого не заладится трагедия. Смещённый, мыслитель вымещает свою боль на языке, которого никто вокруг понять не может, кроме условного читателя в потомстве, Августа в Риме, боготворимого друга-поэта на другом берегу Леты. Задача поэта — преодолеть отвращение к навязанной (государством, историей, самим собой) среде обитания посредством поэтической эмоции. И тут уж кому как повезёт, а эмоциональный спектр Лосева — в первую очередь, горечь, сопротивление и ирония. Вряд ли ему, назвавшему как-то раз в разговоре седовласого чемпиона *ars amandi* Тютчева «грязным старикашкой», понравилось бы это сравнение — но мне взгляд Лосева напоминает последние стихи в книжице Катулла: всё уж вроде ясно с Лесбией, не дающей из всех весельчаков Города одному только нашему поэту, а глаз не оторвать. Поэт смотрит на возлюбленную его жизнь, вульгарную, похотливую, безжалостную, и впитывает драгоценные детали-морщинки, зазубринки, вмятинки. Он ничего не приукрашивает, зачем — именно и только в безобразии она и прекрасна.

Этот невыносимый взгляд, вроде Виева, этот подземный голос был одним из главных утешений последних десяти уж точно лет нашей словесности. Пока поэтический голос Лосева звучал, он отрицал иллюзию утешения, когда прервался (многим, некоторым, мне) стало ясно, что он-то и был искомым *утешением* — блёклым, косвенным, стыдящим себя самого утешением филологией.

Михаил Айзенберг

Начиная писать о Евгении Сабурове, вскоре замечаешь, что слова «свобода» и «свободный» вылезают в каждом втором предложении, и надо прилагать специальные усилия, чтобы это драгоценное определение не превратилось в слово-паразит.

Но это именно то свойство вещей Сабурова, которое поражало в первую голову — как сорок лет назад, так и в последние годы. Поражает и сейчас при перечитывании его

стихов.

Только недавно набрёл на дословный перевод «Поэтического искусства» Верлена: «Надо, чтобы ты отбирал слова не без некоторого презрения. Нет ничего дороже песни как бы слегка захмелевшей, где неопределённое сочетается с точным». Мне показалось, что очень похоже на Сабурова, как будто он прямо следовал этой рекомендации. Только «неопределённость» здесь обозначает не расплывчатость, а *движение* к точности, не знающее о конечной остановке и её не имеющее: не-определённость. Такое движение к незаданной, но ощутимой цели, вероятно, и даёт стиху желанную свободу.

Вот почему стихи Сабурова никогда не шли строем, а носились, как менады, заворачивали виражи, которые могли бы вынести их в новую область, на новую высоту. В них ощутимо постоянное пневматическое действие: пойманная стиховым ритмом элевация.

Это знание возможностей стиха как будто с ним родилось, Сабуров пользовался им недемонстративно и произвольно. Но двигался он очень быстро, и уже в девяностые годы мы видим совсем другого автора, чья природная органика обогащена, осложнена сквозным эпическим сюжетом и драматическими конфликтами, как бы прорастающими сквозь порывистую естественность.

Это, впрочем, уже тема не для короткой реплики, а для большого исследования.

Александр Левин

Когда мне впервые попались на глаза стихи Всеволода Некрасова (было это в начале 80-х), я, как сейчас принято выражаться, не врубился. А это что такое? — помнится, изумился я: ни рифмы, ни музыки, странные столбики с непонятными пробелами... Но такое недоумение продолжалось недолго. На одном из литературных вечеров середины 80-х я услышал выступление Некрасова, как сейчас принято выражаться, вживую. И к своему изумлению обнаружил в стихах музыку, обнаружил рифмы и ритмы. Просто они по-другому устроены и сходу, на традиционном читательском багаже не ловятся.

Я услышал, что слова у Некрасова рифмуются не привычным и со школы понятным образом — одинаковыми или схожими окончаниями слов и строчек, а серединами слов, началами слов и совершенно независимо от количества слогов. Конец одного слова может рифмоваться с серединой другого, любые рядом стоящие созвучия, обретая такую неожиданную связь, образуют особую мелодику и вырастают в особую речевую интонацию.

И когда понял, что такое возможно, что это тоже музыка, это такой особый, абсолютно свободный, но и абсолютно музыкальный ритм, эта музыка стала мне слышна повсюду — в речи знакомых, в случайно попавшемся на глаза объявлении на столбе, в собственных попытках что-то сказать, в ослышках и оговорках. Эта интонация сама ложится на язык, постоянно всплывает в разговоре, как всплывали у меня, привязываясь к слову и ситуации, цитаты из Некрасова. Это мелодика русской устной речи, не книжно-правильной, с придаточными предложениями и деепричастными оборотами, а разговорной, обыденной. Это интонация размышления вслух, разговора с самим собой, когда, идя по улице или сидя за столом, отыскиваешь правильное определение чему-то, пытаешься выразить ощущение или сформулировать мысль, повторяешь слово или фразу несколько раз — пока что-то такое не нащупается... А у Некрасова нащупывается самое разное.

Он умудряется и пейзажную лирику, и меткие язвительные заметки о культурной

или политической ситуации, и путевые наблюдения, и воспоминания детства выговаривать, выпевать в единой интонации, не оставляя своей мелодики, оказавшейся вполне универсальной и всеобъемлющей.

Умудряется, не называя прямо тех или иных событий, не расписывая их конкретики, находить такие слова, которые и суть дела объясняют (ситуация чудесным образом узнаётся, угадывается, вспоминается), и на будущее пригодятся — как объяснение для целого класса явлений, всё повторяющихся и повторяющихся в нашей жизни.

В середине 80-х я слегка включился в изготовление самиздата: сидя на даче, напечатал на своей пишущей машинке толстенькую книжечку стихов Некрасова. Из-за того, что стихи у Всеволода Николаевича идут в основном узким столбиком, стандартный лист А4 я разрезал пополам и так сшил — но не поперёк, как обычно режут, а вдоль. Раритетная получилась книжка.

В процессе этого не вполне на тот момент законного, но и не вовсе запретного производства, пощупав и повертев в руках каждую букву этих стихов, я заразился ими надолго — некрасовские фразочки постоянно приходились к месту, к теме, к разговору.

А потом такое произошло ещё раз. В 1997 году я завёл в интернете свой сайт, и тут же на нём сам собой завёлся раздел для публикации стихов и прозы моих друзей и знакомых. А поскольку верстать материалы для сайта пришлось самому, то я получил возможность ещё раз подержать в руках, прокрутить в голове, прополоскать во рту и ощупать глазами как знакомые, так и новые тексты Всеволода Некрасова. И получил ещё одну порцию волшебных словечек на всякий случай своей жизни.

Олег Юрьев

В конце семидесятых годов в архиве второго моего института, Финансово-экономического, где на потёртом диване я проводил значительную часть учебного времени, подвернулась мне случайно машинописная «сплотка» с некими безымянными стихами. Кое-какие из этих стихов, сонетов — что я уже и тогда не особенно одобрял (но стихам шестидесятых годов — а стихи были явно шестидесятых годов — до известной степени прощал) — были совсем замечательные, а главное, томили анонимностью. И никто их не знал. По моим расчётам выходило, что, кроме как Генделеву, некому было их написать — больше ни на кого из заметных стихотворцев «неофициальной поэзии» они похожи не были. Небольшая проблема была в том, что и на Генделева — по крайней мере, как он в то время «доносился» из Израиля — похожи они были тоже не особо.

Почему-то эта подборка окружалась таинственностью и конспиративностью (впрочем, таинственность и конспиративность были обычным средством против тяжёлой советской скуки). Мои расспросы воспринимались неблагоприятно. «Источник текста», т. е. некто, попросивший заведующую архивом, Алёну Турро, перепечатать ему эти стихи, долго отталчивался, отсмеивался, смотрел на Алёну укоризненно, потом всё же неохотно и отрывисто бросил: «Юра Динабург». На чём я и успокоился — Динабург так Динабург, мне-то какая разнища.

Значительно позже, во времена уже Живого Журнала, любезный и осведомлённый Герман Лукомников обратил моё внимание на запись Конст. Кузьминского о Генделе, где приводился один из сонетов той старой «сплотки». Всё же тогдашний мой рас-

чѣт был верен — Генделев...

Вот это стихотворение. Мне оно и сейчас кажется замечательным, а строчка про Кайрос и более того:

СОНЕТ НА СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
(Из цикла «Сонеты января»)

А. И.

Уповай, Петербург, на почти европейскую душу.
Примеряй — он расейской порошей припудрен — парик.
Будет дело в Сенате: в одной из парадных задушен
гость, случайно зашедший на маленький спичечный вскрик.

Приговор станет лёгок и прост, ибо кто-нибудь будет заслужен,
вероятно, — убийца, и можно с собой на пари,
что меня обвинят, и простят, и нельзя говорить,
как творился допрос, и как я признавался от стужи,

что поджечь собирался поленицы старых кварталов,
в багряницах согреть богаделен имперских костяк,
где, к карнизам когтясь, память прежних костров обитала...

Бог Счастливого Случай, Кайрос — задушен в гостях.
Я в тени Герострата, точнее, его пьедестала.
И с какою мне скукой желание слова простят.

Есть ещё два стиха из этих, как выяснилось, «Сонетов января», которые я до сих пор помню: *«В шатрах ахейцев женщины кричали, / и до утра не проспались цари...»* По-моему, замечательные!

Удивительно, конечно, это сгущение поэтической талантливости, произошедшее в Ленинграде 60-х гг. — поневоле начинаешь верить в сумасбродства Л. Н. Гумилёва — про космические лучи, под углом падающие на закругление земли и отпечатывающиеся полосой. Правда, в этом случае, луч должен был не плашмя упасть, а даже как бы отвесно *вбиться*. И расплющиться лепёхой величиной примерно с Куйбышевский и Смольнинский районы. Ну, может, ещё и кусочек Петроградского туда же.

Кто как отпущенным ему даром распорядился — это, конечно, совсем другая история, да мы сейчас и не об этом.

Пусть будет жёлтая иерусалимская скала Михаилу Генделеву пухом.

Андрей Тавров

Парщикова это метафора. Это эллипсис, о котором он писал в письме к А. Иличевскому, говоря, что последняя его поэтическая работа «Дирижабли» основана на игровом соотношении множества эллипсисов. И это — камера люцида, фотоаппарат. Три ипоста-

си одной и той же реальности — внесловесной.

Его метафора совершенна, но главное в ней не первый её объект и не второй, а расстояние и пространство между ними. Для того, чтобы пересечь дистанцию между «виноградной гроздью в серебре» и «аквалангистом в пузырях» («Бегство-1») нужен радостный акт внесловесного и внелогического прыжка от одного далёкого к другому, осуществляемого в пространстве чистой потенциальности, где ВСЁ ВОЗМОЖНО. Это пространство один западный исследователь назвал «мёртвой зоной» метафоры, её трансценду-сом. Думаю, что она же — самая живая и мощная зона из всех существующих на свете, которую можно назвать райской, или недетерминированной, или сверхсмысловой, или Богом в том или ином понимании этого слова. Проходя через эту зону, дух человека играет, радуется, творит и возвращается в детство. Метафора Парщикова важна не столько своей визуальной изысканностью, сколько виртуозностью исполнения, позволяющей ввести читателя без зацепки в это поле чистого несловесного бытия. Её главная составляющая не «аквалангист» и не «гроздь», но активированное благодаря точности сопоставления пространство между ними, куда вы обречены вступить и воскреснуть от бытовой смерти концептуального мышления. Глотнуть воздуха жизни. Прочитать стихотворение Парщикова — это как на литургию сходить, причаститься иномирному, возобновить свою детскую связь с блаженным космосом вне времени и пространства.

То же и эллипсис. Я как-то спросил его: что же это для тебя такое? — *«Тебе говорит девушка: давай сходим в кино на Марчелло Мastroяни, на сеанс в 21.30, в кинотеатр “Стрела”. Ты отвечаешь: “Давай”. В этом “давай” содержится и Марчелло Мastroяни, и 21.30, и кинотеатр “Стрела”, и “сходим”, и девушка, между прочим»*. Так он мне тогда ответил.

Так вот, работа эллипсисов в «Дирижаблях» — это не набившая оскомину постмодернистская работа отсылок, центонов, аллюзий и т.д., приёма, утратившего энергетическую насыщенность, а качественно новый метод сжатия информации — чередование объёмов воздуха, вжатога в ручку силомера, чередование таких вот силовых умолчаний-смыслов, внесловесных объёмов, насыщенных отсутствующей явно, но присутствующей тайно информацией. «Давай», как в вату, завёрнуто в молчание, в тишину, в которой каждой секунду рождается и исчезает цепочка смыслов.

Его фотоаппарат был полем чистой внесловесности, коробкой света, готовой вобрать любой предмет и отобразить его в кадре в зависимости от ракурса, освещённости и расстояния. Осуществить этим полем чистого сияния возможность перехода объекта изображения к самому изображению. Но для этого акта необходимо то самое пространство «рая» или Света, как он назван в Евангелии от Иоанна. А это уже работа духа. Неслучаен его интерес в последние годы к византийской культуре и богослужению...

Эти сокровища оптики и словесности и ещё многое другое способствовали моему новому этапу в поэзии, тому, что однажды я вышел из заколдованного круга, в котором долго крутился, способствовали дружбе, в которой умолчания и тишина значили больше, чем слова. Думаю, что она, эта дружба, была чем-то вроде совершенной метафоры, на которые он был мастак. Думаю, что она вообще входила в совершенную метафору его жизни с вечным вневременным светом между объектами этого неуловимого тропа.

Сергей Круглов

Многажды говорено, что поэзии следовало бы быть поближе к университету ради своего воспроизводства; представляя себе, кто мог бы скрываться под именем «университетского поэта», вижу профессора-филолога, любящего стихи — и пишущего их из этой самой любви, из стремления сохранить поэтическую речь великих, принять и передать из рук в руки драгоценную колбочку-тепличку, внутри которой — живой росток, такой уязвимый без этой теплички, такой подверженный ветрам и потрясениям мира сего — энтропии словесного мира прежде всего, а за ним и всех прочих миров сих... Первое имя, которое приходит мне на ум, — Лев Лосев; этот росточек в колбе — росточек американского университетского клёна; однако стихи Льва Лосева — не конспекты лекций по современной российской поэзии: это гадание на российской воде, сырой невской влаге в гранитной чаше покинутых набережных, помешивание в ней кленовой веточкой, считывание с бегущих кругами бликов образов нашего быстротекущего века.

Веки и губы смыкаются в лад.
Вот он — за дверью,
и уступают голос и взгляд
место забвенью.

Ртуть застывает, как страж на посту —
нету развода.
Как выясняется, пустоту
терпит природа,

ибо того, что оставлено тлеть
под глинозёмом,
ни мемуарам не запечатлеть,
ни хромосомам.

Скольких поэтов он проводил на луговину ту, где время не бежит, проводил стихом, как молитвой! Великие, там они предстоят ныне — служители слова — перед Словом, Тем, кто стал смертным человеком, не переставая быть Поэтом неба и земли. Лев Лосев ушёл туда и сам, — и стал между ними равным среди равных, но не потерял при этом, мнится, и трогательного, нежного, акварельно прописанного своего облика, сформировавшегося в моём представлении: тот самый росточек клёна, колба вокруг которого теперь — вся вселенная.

Дарья Суховей

Всеволод Некрасов изобрёл новую поэтическую Вселенную. Футуристы от Мариинетти чаяли освободить слово, но всё-таки писали какими-то сверхсловными единствами. Их опыты по освобождению слова — на фоне текста других типов — воспринимались недостаточно адекватно и вошли в историю литературы лишь как некоторый набор возможностей, которыми пользоваться необязательно, экзотика. Всеволод Некрасов

слово — очистил, освободил. И от синтаксических отношений, диктата которых в его стихотворениях не ощущается, потому что связи между словами основаны на визуализации, на поэтике повтора, на моменте ожидания. И от поэтической образности, которая в применении к лучшим стихотворениям Вс. Некрасова существует лишь в потенциале. И от границы между бытовым и эстетическим высказыванием — принципиальная многоуровневость текста, возвращение обратно к чтению из комментария, впоследствии превратившаяся в гипертекст, тоже его изобретение. Я говорю о вещах, которыми пользуются факультативно многие современные поэты, в целом ситуация за 100 лет не изменилась. Весь XX век проблема границ искусства стоит очень остро, рамки поэтического высказывания Всеволода Некрасова — очень — предельно — узки, но каждая синтагма, каждая строка, каждая буква находится на пограничьи возможного и невозможного в поэзии.

Вадим Месяц

Андре Бийи формулирует открытие Парщикова так: «понимать — так же прекрасно, как петь». Вещей, родственных пению, много. Человек-легенда, обладатель соответствующей литературной премии, Парщиков ежечасно над своей легендой работал. Это не имеет никакого отношения к пиару, работа над собственным мифом — те же самые тонкие миры... Оскар Уайльд, находясь в тюрьме, делает похожее открытие, догадавшись о том, что невнимательность — смертный грех. Согласованность внимания даёт согласованность событий жизни, более того — согласованность между всеми элементами мира, живыми и неживыми. «Всё, что понято, хорошо», — говорит Уайльд. Вполне буддистское изречение. Именно внимательность спасала поэзию Парщикова от глубинного нигилизма, заложенного в нас временем. Не релятивизма (он не так уж опасен, как принято думать, скорее — не конструктивен), а именно от ощущения абсурда и бессмысленности бытия.

Парщиков — один из последних поэтов эпохи Просвещения. Причём поэзия для меня не филологическая (тем паче не национальная) величина, а мировоззренческая. «У нас была прекрасная эпоха». Это контекст, в котором существенны открытия Эйнштейна и Гейзенберга, алхимия ядерного синтеза и расщепления, политическая либерализация, право на веру, борьба за права меньшинств и животных, свобода реального и виртуального перемещения... Праздник, карнавал, невыносимая лёгкость бытия, которая, к моему величайшему сожалению, даёт сбой и вот-вот накроется медным тазом. Может, метаметафористы отошли в тень, интуитивно почувствовав смену декораций? Может, речь идёт не о снижении пафоса познания, а о конце протестантского мирового проекта?

Лёша пишет Андрею Таврову: *«Протестантская культура любит конкретность, масштаб “один к одному” и видит в этом поэзию, единичность, признак выбора и достоинство. Скульптурная телесность католицизма ещё переводима на протестантскую образность, но византийская метафизичность с трудом. У нас, византийцев по сути, второй мир не создаётся, а уже существует, метафизика есть априорно, и важно найти, скажем так, “позу приёмника”, откуда соединение и передача оказываются возможны»*. Я бы в столь чаадаевские подробности не вдавался. Религиозная закваска прошлого превратилась в различие темпераментов, за которыми стоят либо мифологическое мышление, либо гуманистическое. Другого не дано. Был приятно удивлён, узнав, что Ольга Седакова размышляет аналогичным образом (эссе «Гермес» в журнале «Континент», 2002, № 114). Надо ли говорить,

что Парщиков для меня — метафизик, изобретатель и разоблачитель глубинных смыслов, сделавший поэзию орудием познания, «великого делания», свидетель и создатель мифологии, пытавшейся вобрать в себя культурный опыт Европы, пропустив его сквозь парадоксальность своего видения. Хайдеггер («Бытие и время») подтверждает: важно не столько выйти из круга, сколько пребывать в нём надлежащим образом.

Времена Гёте миновали. И если говорить о современной поэзии, следует отметить её поражение на клеточном, а также и на концептуальном уровне. Уровень микроскопический — строка, потом — стихотворение (их завершённость и совершенство). Макроскопический — мировоззрение, дар вести (здесь можно говорить лишь о внятности сообщения). Любопытно, что и строку, и концепцию можно наполнить разными вещами — зависит от изобретательности. Есть необходимые компоненты, но это уже проблема мастерства и щедрости духа. На уровне строки работает фонетика, аллитерация, смысловая законченность, интонация, точная или глубинная метафора, афористичность, загадочность... лишь бы был нерв. Концепцию на эмоциях не вытащить. Мне кажется, необходимо не смотреть на мир, исходя из души (своего внутреннего состояния), а смотреть на свою душу, исходя из реального устройства мира — он иллюзорен лишь до определённого предела. Это даёт возможность поставить себя на одну полку со всем остальным, выявить очевидность, естественность, цельность. Это верно хотя бы из психологических соображений. Из бунта и обострённого восприятия распада концепции не выстроишь.

О виртуозности тропов Парщикова написано предостаточно. Лёша научился раскрывать душу предметов, с позиций некоторой аскетической объективности, пытался «заморозить вещь», если обратиться к формулировке Стравинского. Оказалось, что для создания нового храма достаточно внимательно рассмотреть вещи, не попадавшие раньше в поле обзора других, перечислить их как основы бытия, будь то «жужелка» из мифа юности или нечто мирообразующее, как деньги или нефть. По замыслу похоже на Рильке. Он тоже поэт с концепцией и тоже умел внимательно смотреть на вещи. Можно подумать, что моё разделение поэзии на дикорастущую и фундаментальную тождественно различению лирики и эпоса. Это не так. Для меня поэзия с концепцией — это то, что имеет цель.

Елена Сунцова

В 1994-м году, в Нижнем Тагиле, я ждала лета, чтобы навсегда переехать в Питер, и не вылезала из книжных, скупая всё имеющее отношение к поэзии. Современность была представлена двумя журналами: «Новое Литературное Обозрение» и «Арион». В последнем я прочла такое стихотворение:

Мёртвое зеркало души
 никому ничего не говорит.
 Ты мне лучше письмо напиши,
 я прочитаю его навзрыд...

Имя автора — Лев Лосев — смутно всплывало в памяти рядом с именем обожаемого Бродского, последние стихи которого — «Я проснулся от крика чаек в Дублине», — тогда ещё не написанные, звучали как голоса именно что загубленных душ. Душ,

когда-то бывших радостными, неопытными, светящимися, теперь — не испытывающих печали, поскольку «так загублены». Герой же стихов Лосева, внешне неотличимый от написанных в те же годы стихов И. Б., был таким всегда. Сперва ощущение, а потом понимание этого вызывало доверие к автору: он не стал, а родился таким — потерявшим всё ещё до рождения.

Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —
запруда, мельница, просёлок...
а что там дальше, знает Бог.

Доверие выше восхищения, пусть и незаметнее. Так Лосев не претендовал на величие жителя империи: он «*просто вырос в тех краях*», рядом с тем, биографию которого он написал гораздо раньше тома ЖЗЛ, — в «Оде на 1957 год». Так, уже переселившись в Питер, я горевала об украденных у меня «Новых сведениях о Карле и Кларе» с той же почти силой, как о смерти при жизни признанного великим земляка их автора.

В 2009-м году, на Манхэттене, в русском ресторане «Дядя Ваня», подняв рюмку водки, я не осушила её до дна: это были первые поминки в моей «взрослой» жизни. Саша Стесин одёрнул меня: «Моисеевна, ы!» — «Соломоныч, прости». Вопросов по поводу не соответствующих паспортным данным обращений ни у меня, ни у него не было.

— Вы Лосев? Нет, скорее, Лифшиц...

— В сём христианнейшем из миров...

Демьян Кудрявцев

Я бы разделил наследие Генделева на три части, но мне, к сожалению, не с кем. Его недооценённость как поэтического новатора и философа тотальна и в каком-то смысле является обратной стороной его поверхностной известности как плэйбоя и кулинара, которая, впрочем, тоже невелика. В каком-то смысле по-прежнему удивительно как устойчив и консервативен пейзаж русской поэтики, который расступился, чтоб пропустить, лишь бы не измениться, поэта такого звука и размера.

Прежде всего — и самое заметное — это достижения Генделева в перелицовке русского синтаксиса и в графике русского стиха. Зияния на месте изъятых подлежащих, мгновенно выдвигающиеся подозрительные трубы сложноподчинённых связей («на базаре купила она с бирюзою, где саму купил её до войны»), письмо на показательный, на показательный разрыв семантических сухожилий («не смерть моя, а смерть меня»), не компьютерная «отцентровка» записи стиха, а настоящая исполненная смысла инструкция-бабочка, до визга затягивающая интонацию на союзе в однобуквенной строке и раскатывающая её в долгий смысл огромной строки на поперёк всего листа, — вот неполный перечень орудий из «наружного», внешнего генделевского арсенала.

Второе — это «доклассические» и внехристианские источники и адресации.

И третье — свобода от русской поэтической традиции без отхода от неё. Свобода и строгость стиха, которые в симметричных генделевских строках проступают как выбеленные солнцем балки, антиклассицистский дух и строй его поэм, отказ от композиционных и

хуже того! гуманистических традиций русской поэзии при истовом и убеждённом внимании к исполнению её формальных заповедей — ритмических и рифменных, вот какой пример он преподавал местным недорослям и гимназистам. Стихотворения Михаила Генделева написаны иностранцем. Не израильтянином, хотя и им тоже. Не евреем, хотя прежде всего им. А жителем неслучившейся страны, несостоявшейся литературы, где обиды караются не унижениями, а смертью, где поэт — царь, где с бога — требуют, где не было советской власти, где обучение литературе — не занятия в лито, где вера — это право и обязанность, а не имя («Господь наш, господь наш не знает по-русски и русских не помнит имён»).

Леонид Костюков

В течение этого года умерли несколько очень сильных русских поэтов, что, извините за банальность, стало для всех нас утратой. Но для каждого в отдельности какие-то боли больше других. Мне будет особенно не хватать Всеволода Некрасова и Льва Лосева.

Как ни странно, эта нехватка нуждается в объяснении. Смерть физического лица не означает смерти большого поэта, а — как раз наоборот — начало вечной жизни. Корпус стихотворений, конечно, теперь не прирастёт, но он уже практически неисчерпаем для интерпретаций и впечатлений. Рискну сказать так: присутствие *живых* Некрасова и Лосева возле нашего курятника придавало некоторым из нас внутренней дисциплины. Мне — так точно. Писать плохо, ниже своих возможностей — вообще стыдно, но есть конкретные фигуры, овецивающие этот стыд. Вдруг прочтут. Слава Богу — такие ещё остались; из суеверия не буду их называть поимённо.

При Всеволоде Некрасове не к лицу было — не то что врать, а даже чуть-чуть умалчивать или лукавить. При нём было особенно стыдно пользоваться стандартными сцепками слов, вообще длить инерцию внутри стихотворения, статьи или рассказа. При Льве Лосеве — не дописать стихотворение, не довести его (по мере сил) до мыслимого внутреннего идеала. А также — вести инерцию от стихотворения к стихотворению, от текста к тексту. При обоих — высказать что-либо, за что ты не можешь принять на себя полную ответственность.

Всеволод Некрасов, как спасатель, всю жизнь вытаскивал живые слова, обрывки интонации из-под завалов мёртвого, окаменевшего языка. Он так много говорил о приоритете в поэзии — в общем, теме не главной — ещё и потому, что это был по преимуществу свод навыков спасательных работ, чего раньше языку в такой степени не требовалось: замечание Гумилёва о мёртвых словах было скорее пророческим, точнее, тогда они не занимали такое угрожающее место в словаре. Повторы у Некрасова напоминали встряхивания или массаж сердца. Неожиданный поворот после успокаивающего бормотания — лёгкую пощёчину. Но главное всё же, по-моему, — именно отделение живого от мёртвого. И, цитируя Ерёменко, — «он смог, отделяя одно от другого, одно от другого совсем отделить».

Некрасов был человеком конфликтным, иногда казался вздорным, потому что вроде бы ссорился с тем или иным человеком, лично его не задевшим. Фокус в том, что многое на первый взгляд отвлечённое, академическое или эстетическое задевало лично Всеволода Николаевича. Уж не говоря о непорядочности — даже в малых дозах, даже не направленной на Некрасова персонально. Непорядочность оскорбляла В. Н. как таковая.

Про таких обычно говорят: ему не всё равно. А теперь прикиньте — много ли ваших знакомых про ваше последнее стихотворение, рассказ или книгу сказали вам что-то критическое, вообще что-то помимо дежурных похвал в формате, близком к тосту?

Так случилось, что совершенно адекватный и внятный человек, упрямо называвший белое белым, а чёрное чёрным, казался иногда эксцентриком и чуть ли не чудачком. Согласитесь — тревожный звоночек для оставшихся в живых...

Давайте сперва бегло повторим общеизвестное и многократно сказанное о Льве Лосеве: начал писать в 37 лет (когда Пушкин по известным причинам перестал); родился к тому же в 37-м году (опять аukaется Пушкин и не только). Время стихописания — почти 37 лет. Стихи невероятно искусны — и каждое стихотворение доведено по форме до мыслимого совершенства (здесь мелькают заветы акмеистов — но напрасно: ничего всерьёз общего у Лосева с акмеистами нет), и корпус разных стихотворений тщательно вычищен от излишних повторов, многообразен настолько, насколько может быть широк спектр творческих тактик одного человека.

Отметим менее затёртое: во-первых, поэт Лев Лосев всегда старше своего биологического возраста — что вообще нехарактерно для поэта, а для поэта старше 37 — особенно. Во-вторых, Лосев как-то потрясающе непохож на даже лучших поэтов своего поколения (Рейна, Бродского, Русакова, Тимофеевского). Помимо того банального высказывания, что большие поэты, как правило, не похожи друг на друга, другие поэты шестидесятнического поколения, как правило, несут социальную горечь — отражение разбитых социальных иллюзий. Ещё тотальнее — они с годами переходят на длинные циклы, стабилизируются. Новые стихотворения Лосева всегда были неожиданны.

Лосева роднит с Пушкиным и Георгием Ивановым разнообразие поэтических поводов. Это может быть не только опавший лист или качнувшаяся ветка, но и оговорка в булочной или попавшая на глаза газетная заметка. Но Лосев даже радикальнее своих великих предшественников в отстаивании самости именно *этого* повода, именно *этого* результата. Думаю, это связано с гражданской позицией Лосева — последовательным демократизмом, последовательным приятием другого именно как другого. Лосев отстаивает право стихотворения быть самим собой, а не рупором автора.

Ещё одна важная деталь — Лосев особенно любит Пастернака, на которого совсем не похож. Такие отношения с фигурами пантеона теперь встречаются редко. А между тем, это лучшая форма наследования — минуя внешнее выражение. Подобная связь у Всеволода Некрасова с Окуджавой.

Как часто случается при восприятии глубоких, многоплановых поэтов, я сперва выделил для себя одну линию в творчестве Лосева, условно говоря, Лосева-рассказчика. Навероятно яркий, праздничный нарратив. Например — «Записки театрала». Потом (с помощью Сергея Гандлевского) — линию лёгкого безумия, небольшой абсурдный сдвиг. Стихотворения с трудно объяснимым внутренним свечением, уходящие за горизонт (например, «Джентрификация»). Потом — постепенно — я почувствовал красоту и внутреннюю логику почти всех известных мне стихотворений Льва Лосева. А уже после его смерти различил ещё одну, уже тематическую линию — размышлений о смерти, откровенно кладбищенских стихов. Очень грустных, но с каким-то деликатным попусением надежды.

Курт Воннегут, чем-то интонационно близкий Льву Лосеву, допускал существование безвыходных ситуаций с одной оговоркой — если смех не является универсальным выходом. Ну, здесь не то чтобы раблезианский хохот, скорее — усмешка, улыбка. Какое-то неумотительное бессмертие, более человеческое, более тёплое, чем другие его проекты.

СОСТАВ ВОЗДУХА

Хроника поэтического книгоиздания в аннотациях и цитатах

Под редакцией Данилы Давыдова

Май — сентябрь 2009

Александр Авербух. Встречный свет:
Первая книга стихов.
М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009. — 48 с. — (Серия «Поколение», вып. 27).

Первая книга стихов израильского поэта (р. 1985). Стихи Александра Авербуха интересны прежде всего общим философским основанием, изображающим неживые предметы, вещи и силы с физиологическими признаками жизни. Тотальное оживотворение реальности происходит не без Божественного участия, но телесная фактура бытия в целом — это не просто образная система, а дополнительное доказательство целостности вещного мира.

всюду тобой пронизано, господи, / как же ты весь горчишь, / небце твоё подкашивается, / тучи твои облизываются, / темень слюною горячей стекает с крыш.

Дарья Суховей

БАБ/ищи и глобальное потепление:
Сборник стихов.
М.: Проект Абзац, 2009. — 68 с.

Поэтическая антология, построенная по гендерному принципу, в первую очередь заставляет вспомнить многочисленные антологии женской поэзии Серебряного века, или, скажем, книгу лесбийской любовной лирики «Ле-лю-ли». Дабы каким-то образом обозначить границы понятия,

Анна Голубкова, Марина Хаген, Дарья Суховей и Юлия Скородумова, чьи тексты и входят в настоящее издание, в предисловии пишут, что «бабища» означает женщину с активной жизненной позицией. Однако кажется, что в результате перед нами тексты, вполне встраиваемые в традицию женской лирики с оттенком эмансипированности, которая фактически не влияет на спектр волнующих авторов тем. Особенностью всех четырёх поэтесс является, пожалуй, восприятие «женской действительности» сквозь призму иронии, и, как следствие, — некое благородное гаерство, редко свойственное женской поэзии.

Моего первого мужа / можно было неплохо послушать. / Несколько хуже — смотреть. / Совсем никуда — танцевать, / зато иногда как петь! (Юлия Скородумова)

Мария Скаф

Игорь Булатовский. Стихи на время:

Книга стихотворений
/ Предисл. О.Юрьева. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 96 с. — (Русский Гулливер)

Третья книга стихов петербургского поэта (р. 1971) включает в себя «календарный цикл» новых стихов, давший название всей книге — с заведомо многозначным названием (здесь и как бы «не навсегда»

Выпуски книжного приложения к нашему журналу (см. стр.272) в обзоры не включаются.

тоже запаяно), а также миникниги «Маленький садик» и «Новый год в гетто». Поэтика Булатовского 2000-х годов, начиная с книги «Карантин», — эволюционировала до чуть ли не маллармейского типа разрушений языковых клише и поэтических формул. «Стихи на время» — развитие и преодоление «Карантина», и нет в этих текстах ни страха, что высказывание это игра, а язык это ребус, ни (пост)концептуалистской (пред)взятости. Вещь выглядит как вещь, а мир как мир, но есть невыразимое.

Ничего за этим «ду», / кроме тёплого «ду-ду», / ничего за этим «ша», / кроме тёмного «ша-ша» // Между этим вот «ду-ду», / и вот этим вот «ша-ша», / спотыкайся на ходу / и дыши, едва дыша.

Дарья Суховой

В новой книге петербургского поэта продолжается намеченное в предыдущем сборнике «Карантин» (2006) движение за пределы традиционной поэтики при внешнем сохранении всего её формального арсенала — Булатовский активно использует инерционные возможности классической стихотворной техники. Некоторая узнаваемая цитата или расхожий ритмический ход, попадая в его стихи, разлагаются на элементарные фонетические и грамматические компоненты, что позволяет восстановить в правах выразительность привычных ритмико-синтаксических клише, избавиться их от внутреннего опустошения, вызванного многократным повторением. Это как бы поэтика семантически значимой «ослышки», которая часто позволяет обнажить тот хайдеггерианский ужас бытия, что скрыт за автоматизмом привычных выражений регулярной силлабо-тоники.

Это вкривь и это вкось, / ничего не обошлось: / врозь и вместе, вместе, врозь. // Это в кровь и это в кость, / это новость, вроде, гость, / враз и вместо, в полость, в

ость. // Это в гриву, это в хвост, / это всё на вырост, в рост. / Это до звезды. До звёзд.

Кирилл Корчагин

Поэт-молекулярщик, вглядывающийся в шероховатости слов, вслушивающийся в шорохи корней, шелесты аффиксов, писки флексий. Или так: поэт-часовщик, у кого под рукой видимый хаос мелких деталек — пружинок, зубчаток — вдруг охватывается единым прихотливо-ритмичным ходом.

С большими говорить / на маленьком языке — / что-то вертеть-крутить / за спиной в кулачке, // что-то крутить-вертеть, / будто знаешь сам, / будто успел подсмотреть, / что там

— на «маленьком», как бы чуть-чуть не нашем, как бы слегка шутейном, забавном языке Булатовский говорит всерьёз и невесело.

Аркадий Штыпель

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ. Всё равно.
М.: Воймега, 2009. — 52 с.

Сборник стихотворений главного редактора «Нового мира» демонстрирует тот редкий для отечественной поэзии случай, когда поэт ведёт переключку не только со своими литературными ровесниками, но и с более молодыми коллегами. Так, некоторые ритмические ходы вызывают в памяти Фёдора Сваровского и Станислава Львовского, а структура других текстов позволяет думать, что автор учёл и опыт постконцептуализма. Не забыты, впрочем, и ближайшие ровесники — прежде всего, Ирина Ермакова и Борис Херсонский. В то же время подчёркнутая лаконичность, краткость вкупе с предпочтением самых частотных силлабо-тонических размеров заставляет вспомнить поэтику Парижской ноты и Георгия Иванова периода «Отплытия на остров Цитеру», экзистенциальная обречённость которых сменяется беспощадной созерцательностью постиндустриальной эпохи.

*у москвы-реки / взявшись за руки / мы
рука в руке / налегке / со взрывчаткою в
рюкзаке*

*Не спешить, в Москве посчитать ворон.
/ Надо дольше жить. / Много разных дел до
конца времён. / Многих надо убить.*

Кирилл Корчагин

«Казус Василевского» — окончить четверть века назад Литературный институт по специальности «поэзия» и тут же почитать на двадцать лет забросить стихописание. Чтобы в два-три последних года вдруг предстать — и перед публикой, и, прежде всего, перед самим собой — «новым поэтом». Действительно новым, ни на кого не похожим, хотя, думаю, возвращение, а вернее сказать, второе рождение Василевского-поэта вряд ли было бы возможно, не появившись в последнее десятилетие ещё добрый десяток новых поэтов, имена которых у всех нас на слуху. То есть изменился состав воздуха — и позволил раздышаться. В небольшой книжке лаконичных, рифмованных, полурифмованных и совсем нерифмованных стихотворений — множество перспективных, житейских и фантастических сюжетов, множество отсылок к кинофантастике и компьютерным играм, множество то афористичных, то на полуслове оборванных речений. Трудно сказать сходу, как и почему всё это работает: здесь и предельно раскованная, (само)ироничная, но вместе с тем и предельно сдержанная, серьёзная интонация, и сгущённость, драматическая насыщенность текста, но стихи хочется запоминать и перечитывать.

*человек человеку другой / мальчик
думает: я иной / никогда не умру / или умру
как герой / попирая смерть / героической
ногой // но сначала встретить её хочу / и в
толкучке задеть плечом / девочку сильно
бьющую по мячу / правильно взмахивающую
самурайским мечом // у москвы-реки /*

*взявшись за руки / мы рука в руке / налегке
/ со взрывчаткою в рюкзаке.*

Аркадий Штыпель

Мария Ватутина. На той территории:
Сборник стихотворений.
М.: Арт Хаус медиа, 2010. — 128 с.

Пятая книга московского поэта. Поэтика Ватутиной во многом продолжает, существенно, впрочем, переосмысливая, линию поэтов «Московского времени». Для стихотворений Ватутиной характерна подчёрнутая нарративность; они, не относясь к балладной традиции, могут быть названы скорее не рассказами, а демонстрациями ситуаций. Подчёркнутая психологичность ватутинских текстов передаёт ужас обыденности, который приобретает подчас метафизический характер. В новых стихах Ватутина часто обращается к записи ритмически и рифменно организованных стихов «в строчку» — тем самым вступая в перекличку с во многом близкой ей Марией Шкапской.

*Лучше меня не пускать в жилище. / Лучше
случайных водить подруг. / Нищему не
доверяет нищий. / С тем и отправимся в
первый круг.*

Герман Власов. Музыка по проводам:

Книга стихотворений
/ Предисл. Г.Кружкова. — М.: Центр современной
литературы, 2009. — 64 с. — (Русский Гулливер)

Новая — четвёртая — книга московского поэта предваряется предисловием Григория Кружкова, где тот указывает на «катакомбный» характер лирики Власова, на избранную им стратегию «самоограничения» «в мире языческой экспансии вещей и страстей». Это и так, и не так: формы самоограничения в современной поэзии могут быть самыми различными, от комбинарики до объективистской поэзии, от минимализма до «нового эпоса». Это, впро-

чем, не мешает Герману Власову разрабатывать свою линию в этом странном ряду. Будучи формально поэтом неоклассическим, Власов создаёт импрессионистическую картину мира, полного предметов, состояний и ощущений, но не явленных в чётких контурах, а — размытых, мерцающих.

*и если время гул случайный / грязь от
армейских колесниц / пускай мне выпадет
опальный / расплющенный между страниц
// истории цветков сирени / и долгий заверша-
ющая путь / всей тяжестью стихотворений /
шагнёт на грядь*

Д. Д.

Юрий Годованец. Медовый век:

Книга стихов и поэм.
СПб.: ИД «Коло», 2009. — 160 с.

То, что делает в своём поэтическом творчестве известный культуролог, государственный чиновник и поэт Юрий Годованец, можно назвать (достаточно условно, конечно) «метафизическим импрессионизмом». Живой глаз лирика, уставленный в вершащийся как внутри, так и вне автора эпос, глаз христианский, но напроць лишённый худших сторон конфессиональности (скажем так, глаз, развитие чувствительности которого лишено защитных ороговелостей), фиксирует — не без уместной в такой ситуации барочности — свои объекты, направляя их в русло добротного регулярного стиха, поглощая который, читатель почувствует привкус как, скажем, графитной, слюнной и соломенной слововязи Мандельштама, так и страстно-уплотнённой, на грани короткого замыкания, смысловязи Сосноры, — но вполне способен и не вспомнить о них, настолько стих Годованца аутентичен. Корпус стихов «Медовый век» объединяет, в четырёх разделах, стихи разных лет (в основном — последнего двадцатилетия: даты выставлены далеко не под каждым стихотворением). Вели-

колепный, на мой взгляд, недостаток издания — в том, что из трёхсот экземпляров ни один не попал на книжный прилавок, и у любителей поэзии будет дополнительный стимул поуститься в поиски книги, которой, буде явилась бы такая номинация, в рамках гипотетической премии «Самиздат XXI века» вполне можно было бы дать диплом «За лучшую книгу, взятую почитать на ночь».

*Источник вин — сухих или промоклых
— / без косточек арбуз земного лона. / Сле-
зится солнце в каменных моноглях / и ни-
когда не сходит с небосклона. / Под тем
платаном, где, прозрев как Будда, / туда
ушли, кто нынче соли чище, / смотреть на
свет и добывать оттуда / колючей соли
сладкие лучища.*

Сергей Круглов

Павел Гольдин. Хорошая лодка не нуждается в голове и лапах / Предисл. А. Дмитриева. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 128 с. — (Новая поэзия)

Когда мы называем кого-то или что-то именем собственным, мы подразумеваем, что кроме всех определений и признаков, которыми обладает этот предмет, у него есть что-то особенное, определению неподвластное. Это функция имени, хотя само имя может и повторяться (так двух девочек могут звать Наташами или два города Парижами). В своей книге Павел Гольдин изменяет эту функцию так, что имя собственное не противостоит нарицательному, а то свободно перетекает в него, то оказывается ярлыком, подменяющим действительность и потому обманным. Из-за этого герои книги представляются даже не аллегориями, а существами, застрявшими между общим и частным: «наташками», «Фридрихом Съеденом», «нашим пациентом, тощим Петербургом». Стихи Гольдина не называют и не определяют, а останавливают нас на

границе между именем и предметом, чтобы мы спросили себя: а что это значит, особенное, что его отличает от общего? Что неназванное скрывается за названием?

Все вещи обрели вдруг имена: / на четырёх ногах стоит василий, / на нём наташки чёрного стекла; / вокруг него столпились племена / гостей — и из наташек жадно пили; / хозяйка к ночи петьку испекла; / его из константиновны достали; / на мелкие фрагменты рассекла / старинным гансом золингенской стали

Анна Глазова

Лидия Григорьева. Сновидение в саду.

Книга стихотворений / Предисл. В.Месяца. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 140 с. — (Русский Гулливер).

Новый сборник живущей в Лондоне поэтессы. Для поэзии Григорьевой характерен новый извод романтической иронии, попытки найти возвышенное в обыденном. Вадим Месяц сравнивает лирическое «я» Григорьевой с садовником; даже если это и преувеличение, некое натурфилософское начало, проявленное в заглавии книги, безусловно объединяет стихи сборника.

Непроходимое житьё / сгустилось облаком гнетущим. / Но сохнет чистое бельё / под звёздами, в саду цветущем.

Д. Д.

Надя Делаланд. На правах рукописи. Киев, 2009. — 336 с. — (Серебряный стрелец)

Девятая по счёту, как гласит аннотация, книга «одного из известнейших авторов современного поэтического авангарда». И далее: «поэт легко сочетает остроиндивидуальную манеру поэтического высказывания, уникальное образное мышление с удивительной, непосредственной лёгкостью, эмоционально переполненной, порывистой

поэтической речью, насыщенной тонкими ассоциациями и аллюзиями». Такие неумеренные дифирамбы либо настраивают на нечто из ряда вон выходящее, после чего следует естественное разочарование, либо заведомо вызывают скепсис у читателя. Если же отвлечься от этих щедрых авансов, то «авангарда» тут не так уж много, да и тот некоторым образом уже мейнстрим (...ру кипяткомыть, www — здесь теперь дубняк, / шмыгая носом налитьсе бекрепкий чай, / выпить ссы рком глазированной. Потехня / тоже голодная смо тритмне вротспле ча). Общий массив, однако (книга объёмистая) — вполне традиционные (хотя и не без придумок) лирические стихи с отчётливой гендерной составляющей: *Просыпаешься утром рядом с чужим / мужиной, переворачиваешься на бок, / подумываешь что-нибудь вроде: вот бы... нам бы... / выспаться — раз мы уж тут лежим.* Далее — из того же стихотворения — выясняется, что чужой мужчина на самом деле муж героини, предполагаемый эпатаж и бытовое неустройство оборачиваются утверждением личного счастья. Лирическая героиня Делаланд симпатична именно своим душевным здоровьем, адекватностью мировосприятия и отсутствием надрыва.

Мария Галина

Название книги избранного ростовско-н / Д-теперь-уже-московской поэтессы (р. 1977) отсылает к штампованному языку библио-описаний диссертационных сочинений, в которые включаются наработки за длительный период жизни; аннотация же заканчивается словами «издаётся впервые». В девятую по счёту книгу вошли стихи из нескольких изданных книг и чуть-чуть неизданного. Пространство поэтического высказывания в поэтике Нади Делаланд включает всё, что оказывается в поле зре-

ния, однако грамматические сдвиги настраивают оптику зрения в малообычной траектории, и возникает отнюдь не анонимно-пейзажная фотокартинка.

Ночью выпала снега — немного, мало — / бесконечная полночь её лила, / ночью выпала снега — она устала, / у — лежала — ста — столько лежала — ла, / отдыхала, копила бессилье таять, / растекаться по древам, шизея над / оглушёнными улицами, летая, / подметая и падая в снегопад.

Дарья Суховой

Экспериментальное, ироничное и одновременно уверенное языкотворчество у Нади Делаланд сочетается с камерной, личностной тематикой. Такое соединение превращает её поэтический язык в инструмент, помогающий увидеть место малого в большом. Делаланд владеет разными техниками письма, от фольклорных стилизаций до коллажей с компьютерными терминами; лучше всего ей удаются стихи, в которых слово становится в ряд других, схожих с ним по созвучию и перенимающих его смысл. В своей девятой книге стихов Надя Делаланд собрала новые тексты и публиковавшиеся в предыдущих сборниках — впрочем, разместила она их не в хронологическом порядке, поэтому перед нами не отчёт о творческой эволюции поэта, а скорее калейдоскоп стихотворений, которые то и дело переключаются между собой.

Даже дверь заложили, в которую Вы / вышли (где Вы?), где «вы» не приставка, а за — / заиканье и — местоименье. / Дверь же замуровали, замазали, за — / так нелепо — лепили, и Вас там нельзя / разглядеть, и до дна напрягая глаза, / потому что Вы сделали тенью.

Лев Оборин

День открытых окон 2: Стихи участников I Московского фестиваля университетской

поэзии.
М., 2009. — 144 с.

Первый Московский фестиваль университетской поэзии прошёл в октябре 2008 года, тогда же вышел и первый «День открытых окон», включавший в себя стихи и прозу студентов и аспирантов РГГУ. Во втором сборнике прозы нет, а есть стихотворения более чем 30 поэтов, которые учатся в университетах и аспирантурах разных городов России. Это как известные в литературной среде имена, лауреаты и шорт- и лонг-листеры «Дебюта» и «ЛитератураРентгена» (Григорий Гелюта, Юлия Плахотя, Света Сдвиг), так и дебютанты, стихи которых публикуются впервые или почти впервые (Анастасия Кыштымова, Степан Бранд, Татьяна Попова).

Все потерянные вещи где-то лежат. / Загляни в траву — это такой музей. / Это такой храм. Муравьи и жуки сторожат / Стёклышки от очков и щипчики для ногтей. // В крышке от газировки крестят детей (Лев Оборин, Москва)

Этот жёлтый фонарь / как светящийся ломоть сыра: / вечерами слетаются птицы / болтать и ужинать, // а земле полусонно, / тесно, темно и сыро / и разбитые стёкла / искрятся в ней как жемчужины (Ольга Яковлева, Калининград)

Дарья Суховой

Сборник состоит из подборок 33 поэтов из разных регионов России и подготовлен по результатам фестиваля университетской поэзии, прошедшего 25-26 октября 2008 года в Москве. Тексты, представленные в альманахе, в целом показывают осведомлённость большинства авторов с основными сегментами современной поэзии: здесь и неожиданные ответвления метафоризма, и пресловутая «новая искренность», и тексты, ориентированные на эстетику слэма, и т.д. и т.п. Если для некоторых уже сформировавшихся поэтов (а

таких здесь как минимум пять) публикация в альманахе — это возможность ознакомить читателей с результатами текущей работы, то для совсем новых авторов это хорошая стартовая площадка, а также возможность осмыслить своё место в предлагаемом контексте.

*по мёрзлому тротуару мимо проходят
два дня / до краёв молоком заливает их ма-
ленькие следы. / девочка девочке лист
бумаги. белая простыня. / смит и вессон в
чужих руках, / по привычке превращаю-
щихся в цветы. (Александра Володина)*

*когда меня родили / завернули в газету
правда / и это правда / хотели сказать
что-нибудь особо торжественное / выпили
за будущее за здравие / закусили / и
забыли / а я до сих пор не понимаю / как
можно? (Алиса Розанова)*

*Врос во вселенную рост / Одного чело-
века // Затаённый вопрос звезды / Кто мы?
Если вышли из / комы, из космоса / Смерти
мира чёрные дыры / Лакуны / В мирозда-
ния ткани крепны / Судьбы / Одного челове-
ка... (Олег Задорожный)*

Денис Ларионов

Всеволод Емелин. Челобитные.
М.: ОГИ, 2009. — 184 с. (Твёрдый переплёт).

В новом сборнике московского поэта опубликованы как стихи из предыдущих сборников, так и не включавшиеся в них; кроме того два интервью и две статьи автора. Книга Емелина подчёркивает его образ непризнанного, изгнанного как из широко понимаемого социума, так и из узкой тусовки автора, именно поэтому как общественно-политические, так и внутрилитературные (невключение Емелина в список «Современные русские поэты» в Википедии или неприглашение его же на Биеннале поэтов) события столь подробно отражены в представленных емелинских текстах.

Ночью в спальнях районах / Окна ярко

*горят, / Над дисплеем склонённых / Вижу
тыщи ребят. // Бьётся жаркое сердце, /
Мышка пляшет в руке, / И рождаются
тексты / На родном языке.*

Павел Жагун. Пыль Калиостро.
М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009. — 152 с.

Чрезвычайно сложное композиционно произведение московского поэта, музыканта, художника. Павел Жагун соединяет эстетические манифесты, построенные на постдадаистическом мерцании значений (по Жагуну, «смещение повтора ранее от-рефлектированного материала»), отрывки прозы и большие поэтические фрагменты (отдельные стихи и циклы), в которых задействована вся палитра неклассических дискурсов (от языковых трансмутаций — «лингвопластики» или автоматического письма — до объективированного внесубъектного говорения); графика Жагуна также составляет часть этого метакомпозиционного целого.

*точная вещь / вручать самому себе /
удерживая присутствие / голым упорством
/ замедляясь до ручки / пребыванием /
место зачёркнутых строчек запомнить /
мелом*

Д. Д.

Екатерина ЗАВЕРШНЕВА. Над морем: Стихи
/ Предисл. Р. Левчина. — М.: Изд-во Р.Элинина,
2009. — 112 с.

Первая книга автора (р. 1971, Москва) включила в себя избранные стихотворения 1999-2008 годов. Общий мотив книги — вода, разная, от мытья окон до мостов и снега. При этом книга очень прозрачная, хотя верлибрическое описание временами переходит в ассоциативное перечисление. К концу книги структура стихотворений / стихотворных циклов усложняется, и они предстают полифоническими картинками воспоминаний о медленно сменяющемся

мифическом отсчёте времени Ленинграда, о смерти, о войне.

*сон строитель мостов / узкие доски
ходят ходуно / верхушки шатаются мачты
/ в безвоздушном // сон это палуба /
горячие поручни / плеск разливается вы-
ступает / выше вровень с краями // корабль
призрак / заходит в безлюдные гавани /
обрастая водорослями тянет верёвки сети /
устье реки без течения / толкаясь в песок*

Дарья Сухой

Если принять за аксиому известное шеллинговское «архитектура — застывшая музыка», то поэтические тексты Екатерины Завершневой можно считать обратным пробуждением этой музыки к жизни. В этих текстах странным образом сочетаются воздушность (не легковесность) высказывания и внутренняя зрелость, значительность высказанного. Если экскурсы Завершневой в левантийский античный пейзаж возвращают миф в единое культурно-временное пространство, то её же стихи на условно-современные темы встраивают сегодняшний день (или не столь далеко отстоящее прошлое) в пространство мифа, которое тем самым актуализируется, не теряя сакральной составляющей. В книге собраны стихи за десять лет, при этом издание представляет собой первый поэтический сборник автора — и эта несуетность вкупе с тщательностью отбора делает книгу действительно событием, пусть негромким. Чередуя свободный и регулярный типы стиха, Завершнева демонстрирует свободу владения разными поэтическими техниками. Сборнику предпослана заметка известного поэта, драматурга и издателя Рафаэля Левчина, в которой он называет стихи Завершневой «нелёгким чтением». При всём уважении к высказанному мнению, позволю себе возразить — для открытого ума и слуха стихи эти легки.

*...потому что найдут / только вместе //
наши тела / пещерные города / крошащие-
ся от ветра / каменная смола / высолы на
щеках / руки корни / на краю обрыва / яго-
ды кизила / рассечённая бровь / терновник
/ эхо // на склоне / обнявшись молчим / не
замечая / что нас уже нет*

Геннадий Каневский

Гали-Дана Зингер. Хождение за назначенную черту: Из пяти книг / Предисл. Н. Горбаневской. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 280 с. — (Поэзия русской диаспоры)

Новая книга Гали-Даны Зингер включает в себя избранные стихотворения 1980-2000-х годов, впервые издававшиеся под именем самой Зингер и под именем её поэтического альтер-эго Адели Кильки, а также новые стихотворения второй половины 2000-х годов. Всё, собранное вместе, помогает более общим образом представить себе поэтику Гали-Даны Зингер, очень игровую по набору приёмов, но в то же время постоянно ускользающую от игры общим смыслом говоримого. Из новых стихов можно отметить цикл «Ваш покорный слуга Скарданелли», написанный как бы от лица сошедшего с ума Гёльдерлина. А ещё Гали-Дана Зингер умеет переселяться в памяти цветков (есть цикл с таким названием) — и существовать оттуда, а это тайное пространство, куда только шмелю можно влетать, а никак уж не читателю поэзии, подслушивателю приборматовемого.

*пять лепестков на пальцах пересчитать
не сумела / смела муслиновый мусор / с
колен и — за пальцы несмело / но за
мулине сомлела / спать захотелось так
невовремя так внезапно / она ещё
мусолила какие-то обрывки мыслей /
перебирала как на шее бусы / «пить»,
«помнишь», «вопишь», «вопьётся» / а над
нею уже нависли / заросли роз и зорь*

запах / сто лет залпом

Дарья Суховой

Лина ИВАНОВА (Полина Андрукович).

В мире одна волна: Книга стихотворений / Предисл. Т. Бонч-Осмоловской; послесл. Д. Давыдова. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 70 с. — (Русский Гулливер)

Вторая книга известного московского поэта и художника отчасти продолжает линию книги «Меньше на один голос», основанную на парадоксальном взаимодействии интра- и экстраверсии. Кроме того, в книгу включено множество текстов биографического и псевдосказочного (многие из них являются набросками сценариев мультипликационных фильмов, это упоминается в одном из них) характера, которые обнаруживают неожиданные переклички с лирикой (да и прозой) Евгения Харитонов. Как и для более старшего автора, для Андрукович характерна междисциплинарность (поэзия-мультипликация, поэзия-кино), а также травматическое переплетение творческой и жизненной стратегий.

Два голубых крокодила / Встречают кролика и / Начинают драться за / Него. Все трое па / дают. Приходят сани / Тары и стоят. Тиба / Лёд встаёт и уходит, / А лежащих вяжут / Санитары-Архангелы / И те бьются на вязаках и внет поют по-псковски; / Выходит добрый волк и осврнет освобож / Даёт кролика, кро / Лик обнимает / Кролодиланет / крокодила, который на вязаках. / Тишина, нет движения. / Воленет волк закуривает / За сценой. Я играю волка...

Денис Ларионов

Полина Андрукович (Москва, р. 1969) с выходом этой книги сменила литературное имя. От того, что фамилия была изменена на самую распространённую и обезличенную, а от имени отколот первый слог, возникло явственное сближение между име-

нем автора и корпусом текстов. Предисловие филолога Татьяны Бонч-Осмоловской и послесловие филолога Данилы Давыдова вводят книгу в академический контекст осмысления. Давыдов отмечает как первооснову письма внутреннюю речь по Выготскому, моделирующую фактографирование внутренних переживаний, столь же осмысленных, сколь и немотивированных извне. Бонч-Осмоловская подробно анализирует сложность записи текста. А (По)Лина (Андрукович) Иванова манифестирует нестыковки бытия, и поиски в этом направлении продолжают развитие авторской поэтики, весьма и весьма необычной: графически, логически и философически.

река дошла дождём / в пределы эмпирии / в пределах эмпирии / река взошла дождём / под вашим мужеством нена / висть слышит ваши сердца / весть / не выве / шивать вы / шитые / стяги

Дарья Суховой

Леонид Иоффе. Четыре сборника / Ред.-сост. М.Айзенберг. — М.: Новое издательство, 2009. — 288 с.

Собрание стихотворений Леонида Иоффе (1943–2003) включает четыре авторские книги. Иоффе входил в один круг с поэтами Михаилом Айзенбергом, Евгением Сабуровым, прозаиком Зиновием Зинином; в 1972 г. уехал в Израиль; в 1985-м стал лауреатом премии им. Р.Н. Эттингер «за русские стихи в Израиле». Для поэзии Иоффе характерна работа внутри языка, по периферии значений, совмещённая с производящим впечатление непосредственности, ненарочитости лиризмом. Благодаря этому синтезу достигается и демонстрация «второго дна», сокрытой семантики, — и проговаривание обыденных вроде бы вещей, которые приобретают при этом свойства необычности (в этом смысле Иоффе можно сравнивать с некоторыми классиками модернизма — от Аполлинера

и Гарсиа Лорки до Превера). Принципиальной для Иоффе оказывается и собственно языковая работа, построенная на смещении оттенков смысла; в условиях эмиграции Иоффе осознаёт собственное русское письмо как своеобразную языковую утопию, осуществление невозможного синтеза еврейского самосознания и русскоязычного поэтического дела.

В крошечных нишах наших / закупоренно длить / уценённую продажу / дорогих когда-то лиц. // Искушённые резоны — / пухом в прах. / Мрак на душах, на их сводах — / мрак.

Елена ИСАЕВА. Сквозной сюжет. Избранное. М.: Арт Хаус медиа, 2009. — 192 с.

В новой книге московского поэта собраны стихи из пяти сборников — с добавлением стихов из сборника будущего. Поэтика Исаевой в значительной степени строится на самоощущении современной женщины, на анализе гендерного сознания; на фоне трагичности Марии Ватутиной или архетипических моделей Веры Павловой Исаева демонстрирует ироничный (в том числе самоироничный) тип лирического «я», скрывающий за простотой формулировки драматичность предлагаемых ситуаций.

И где-нибудь вовсе некстати, / На чьих-то несомна руках, / Я слушала о сопромате, / Об опытах на червяках.

Александр КАБАНОВ. Бэтмен Сагайдачный. Крымско-херсонский эпос: Сборник стихотворений. М.: Арт Хаус медиа, 2010. — 160 с.

Новая книга киевского поэта. Заданное культурной химерой, вынесенной в заглавие, поликультуральное основание в целом характерно для поэтики Кабанова. Однако здесь мы сталкиваемся не столько с иронической контаминацией мотивов или полистилистическим уравниванием элементов

мира, сколько с избыточностью бытия, столь часто проявляемой южнорусской поэтической школой.

Николай Васильевич Голем, / воздух шахматным пахнет полем, / и за что ни возьмись — беги! / Здесь у каждой второй нимфетки / чёрно-белые яйцеклетки, / скороходные сапоги.

Д. Д.

Тимур КИБИРОВ. Греко- и римско-кафолические песенки и потешки. 1986-2009. М.: Время, 2009. — 80 с. — (Поэтическая библиотека)

Сборник Тимура Кибирова построен на нарочито очевидных противоречиях. Они возникают как от контраста интонаций, так и от стилистических столкновений (наследие различных пластов лексики, от фольклорно-архаичной до современного сленга) и разнообразия форм стиха (баллады, дразнилки, вынесенные в заглавие потешки). Основное же структурное противоречие — между ироничностью эклектики и общей религиозной тематикой стихотворений, вниманием к скрытому или явленному божественному. Но этот контраст подчёркивает не дробность, а единство книги, вектор развития которой — не центробежный, а скорее центростремительный и направлен на консолидацию целого спектра различных, но равноправных проявлений духовного опыта.

Петушок, петушок, / Золотой гребешок, / Ты не жди, петушок, до утра. / Сквозь крошечную тьму / Кукарекну ему, / Пожалей ты беднягу Петра! // Петушок, петушок, / Он совсем изнемог. / Тьма объяла земные пути. / Кукарекнуть пора, / Ибо даже Петра / Только стыд ещё может спасти.

Александра Володина

Илья Китуп. Вьесна: Литературно-художественное издание.

Берлин: Пропеллер, 2009. — Без пагин.

Новый букартистский авторский сборник Ильи Китупа, — поэта, художника, музыканта, одного их участников художественного объединения Трёхпрудного перулка, лидера ска-группы «Кабинет», — издан в его собственном берлинском издательстве «Пропеллер» коллекционным тиражом 20 экз. Публикуемая поэма — медитативно-ироничное «обозрение» (используя жанровое обозначение Г. Оболдуева), картинки уличной жизни.

А европейцы тоже неплохи — / Вот гармонист раздул свои мехи. / Чиновница на солнце сушит волос. / Певица прогревает севший голос. / Квартировзломщик полирует фомку. / Бездомный чистит внутренность котомки.

Д. Д.

Кордон (Три пограничных поэта): Сергей Жадан. Андрей Поляков. Игорь Сид / Предисл. Н.Звягинцева; послесл. Д.Давыдова. — М.: Арт Хаус медиа, 2009. — 256 с.

Отважная, но, возможно, безнадёжная попытка «сростить» расходящиеся поэтические культуры России и Украины. В качестве медиатора выступает составитель Игорь Сид, литературно-географически принадлежащий «Крымскому тексту»; его соседи по сборнику — живущий в Симферополе русский поэт Андрей Поляков и Сергей Жадан — бесспорный лидер молодой украинской литературы. Несмотря на заявленную принадлежность авторов к одному региону («три поэта восточной Украины»), Жадан и Поляков — слишком яркие и разные фигуры, чтобы совокупно формировать некий общий текстовый массив. К тому же в «Кордон» попали, можно сказать, хрестоматийные их тексты, принципиально «перемешанные» в некоем одному составителю известном порядке — иными словами, нов здесь только способ компоновки. И даже протестичность и пластич-

ность третьего участника проекта — Игоря Сиды — не в состоянии скрепить этот очень разнородный поэтический материал. Книга, однако, получилась интересной, а опыт — заслуживающим всяческого внимания, причём в самом выигрышном положении оказался как раз Игорь Сид, выступивший одновременно как поэт, составитель, интерпретатор и переводчик (в приложении — Сергей Жадан в его переводах и эссе, посвящённое Андрею Полякову).

Она лежала под Луной, / и дряхлый заяц заводной / по локтю шёл устало. / Она лежала ни жива, / ни как ещё, забыв слова: / «Ты был там богом Озорства, / но изгнан из Влагаллы». / Она лежала, как вода, / ещё вчера под маской льда / упавшая сюда. (Игорь Сид)

Мария Галина

Михаил Красиков. МА: Стихи о Главном. Харьков: Эксклюзив, 2009. — 76 с.

Новый сборник харьковского поэта и литературтрегера. Сборник посвящён памяти матери. Он весьма лаконичен, — Красиков в целом склонен к поэтической афористичности, в данном же случае, создавая аналог домашнего альбома (книга оформлена фотографиями родителей), поэт выводит частный, интимный жест в ранг художественного высказывания.

Если бы Бог мне сказал: / ты можешь сейчас / произнести три слова / шёпотом, / но тебя услышит / весь мир, / я бы сказал: / Виноват. / Виноват. / Виноват.

Илья Кучеров. Стихотворения / Предисл. С. Бодруновой. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 68 с. — (Русский Гулливер).

Вторая книга стихов московского поэта. Культурологические опыты, своего рода проживание лирическим субъектом опыта мировой истории соединяются в стихах Ильи Кучерова с проекцией этих мотивов на судьбы современников. Можно ска-

зять, что многие стихи Кучерова представляют собой описание процесса осмысления притчи.

Когда Господь путешествовал в Палестине, / И птиц, и лилий хватало на всех с лихвою. / Теперь так просто уйти за звездой в пустыню, / Куда сложнее расти травой полевою.

Света Литвак С. Безнравственные коллизии и аморальные пассажи. Тольятти: Лит. агентство В.Смирнова, 2009. — 64 с. — (Майские чтения, №8)

Новая книга московского поэта, прозаика, художника, перформера выходит в качестве приложения к тольяттинскому альманаху «Майские чтения», в честь одноимённых чтений и выпускаемого; фактически первый авторский выпуск книжного приложения — стихи именно Светы Литвак. Здесь собраны её стихотворения, так или иначе связанные с эротической тематикой — от утрированно-стилизованной любовной лирики до брутально-обсценных поставангардных экспериментов. Тематическая выборка, при всей условности и порой даже провокативности такого рода деления, позволяет нащупать если не интонационные приоритеты Литвак, то хотя бы поле, в котором они могут быть обнаружены: принципиальная несказуемость, невыразимость собственно прямого слова, внутриличностное ролевое дробление, поиск неуловимости «я».

я полюбила женщину-хирурга / она же быть хотела только другом / так ласково кромсала тела части / пока я млела от любви и страсти

Д. Д.

Вадим Месяц. Цыганский хлеб: Стихи. М.: Водолей, 2009. — 368 с.

Стихотворениям Вадима Месяца, сбалансированным в этой книге, свойственна простая чистая мелодика и лаконичная, но на-

сыщенная метафорика. Одним из образов-камертонов служит идея времени; образные ряды, к которым обращается поэт, так или иначе порождены прошлым и зачастую основаны на архетипических или традиционных сюжетах. По словам автора, контекст и характер самих стихотворений тоже родом из прошедшего времени — из 90-ых годов, отмеченных бессистемностью и многоголосьем жизни. Этот сборник столь же полифоничен, но эта полифоничность вызвана не столько множеством лирических «я», сколько многообразием моментов времени, к которым привязано то или иное стихотворение или строка. Сложные связи между этими временными точками и отрезками схожи с устройством самой человеческой речи, мелодического говорения. Речь как рассказ о жизни и о времени, как процесс становления настоящего из прошлого — и оказывается предметом поэзии.

Мне кажется, что дни уже летят. / И без тебя давно минули годы, / но так же страшно улицы скрипят, / и на войну уходят пароходы. / И я всё слышу — где-то на земле, / в пустой дали, за белою поляной, / как на большом забытом корабле, / трепещет флаг на шкеле деревянной.

Александра Володина

Лариса Миллер. Накануне не знаю чего. М.: Время, 2009. — 112 с. — (Поэтическая библиотека)

Новый сборник известного московского поэта объединяет стихи 2002-2008 гг. Поэзия Миллер, всегда стремившаяся к лаконизму, в стихах этой книги естественно ощущает себя в рамках минимальных для классической просодии поэтических квантов — восьми-, шести-, четверостиший. Лирическое «я» Миллер характеризует мгновенная реакция на переживание, чёткая ассоциация горнего и дольнего как оборотных сторон мироустройства.

А взглянув, я обомлела. / Слева небо так алело, / Слева так горел закат, / Что сияли луг и сад, / Даже жизнь моя сияла. / Поражённая, стояла, / Глядя — козырьком ладонь — / На бушующий огонь.

Д. Д.

Евгений Никитин. Невидимая линза / Послел. М.Шатуновского. — М.: Икар, 2009. — 128 с.

Сборник представляет собой ретроспективу текстов автора, созданных на протяжении последних четырёх лет и объединённых в семь тематических циклов. Эту книгу, по аналогии с «романом воспитания», вполне можно отнести к условному жанру «поэтическая книга воспитания»: от цикла к циклу мы наблюдаем рост лирического героя (читай — «автора», большинство текстов Никитина написаны от первого лица). Происходит переход от детского именования предметов, перебирания их в руках, поиска примет и соответствий — к более глубоким переживаниям, к вопрошанию мира и определению своего места в нём. С точки зрения поэтической техники Никитин — скорее импрессионист, чем экспрессионист: пристальное внимание к деталям и умение высветить её искупают отсутствие внешней броскости.

Музыка погасла наверху. Это неожиданно случилось. Словно меломану-лопуху что-то недоступное открылось. Он на полуслове оборвал этих нот невидимую ересь и с тех пор уже не горевал, и остепенился, словно через тонкий слой загадок и ключей, следствий потаённых паутину он увидел в хаосе вещей смыслом осенённую картину.

Геннадий Каневский

Сергей Овечкин. Бокс в монастыре. СПб.: ГИЦ «Новое культурное пространство», 2009. — 192 с.

Посмертный том стихов и прозы петербургского поэта, писателя и филолога (1969–2007). Филологические штудии вышли годом ранее (сборник «Пролеткульт будущего»), а сюда вошли собранные близкими и друзьями проза и стихи, стихов меньше. Из прозы — повесть «Бокс в монастыре» — внешне полудневниковая вещь, основанная на документах частной истории (издавалась ранее под псевдонимом Сергей Денисов), и «Приключения Суходрокова» — близкое к психоаналитическому повествование. Стихи в книге разбиты на несколько блоков, один из которых называется «Песенки на слова Лу Рида» (переложение или имитация — неясно, т.к. ссылка в книге ведёт на какое-то французское издание...).

Кэролайн говорит, поднимаясь с колен / Почему ты меня ударил, это вовсе не смешно / Кэролайн говорит и подводит глаз / чтобы я думал о себе и думал о нас («Песенки на слова Лу Рида»); А всё оттого, что отвязалась метла. / Есть адресат, но она ничего не читает. / Есть жена, портянка и штопальная игла. / Говорят, бывает, и медведь летает. // Так что про мужское одиночество — это враньё. / Если я сочиняю слова, то только ради искусства. / В вашу камеру бросили новьё, / и оно что-то там поёт про свои чувства. // А если вы на свободе — это было навьё. / В сумерках померещилось (из цикла «Про это»)

Юрий Орлицкий. Верлибры и иное:

Книга стихотворений. / Вст.слово Вяч. Куприянова, А. Мирзаева, Д. Давыдова, С. Шуляка, М. Маурицио, С. Завьялова. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 156 с. — (Русский Гулливер)

Четвёртая книга стихов московского поэта (р. 1952) включает в себя верлибры, стихи, написанные регулярным стихом (раздел «В рифму»), несколько стихотворных циклов / малых поэм и дискретное пре-

дисловие, писанное разными лицами, — в котором речь идёт в основном о верлибрах. Это неудивительно: Юрий Орлицкий — широко известен как теоретик и практик верлибра, и именно его усилиями этот тип стиха в России последних десятилетий занял своё достойное место как адекватное просодии русского языка средство организации поэтической речи, имеющее богатую, хотя и малоизученную традицию в русской литературе. И верлибры, и «иное» в книге Орлицкого как будто следуют принципу фиксации мгновения, принятому в восточных поэтиках. Эта связь с Востоком даже глубже: странствующий японский или китайский поэт, складывающий стихотворения в разных храмах на пути своего странствия, и Юрий Орлицкий, филолог, постоянно перемещающийся по конференциям в разные города России, каковая страна в стихах несомненно детализируется и абстрагируется — ибо поле обзора широко. Оттуда и фактурность, и обобщения, и признание самых обыденных необходимостей.

в московском метро / пахнет сытно: / пирогами / пивом / даже иногда коньяком // в питерском / не пахнет ничем / чисто и пусто / хорошо читать / и думать

Дарья Суховой

Как видно из названия книги, в ней представлены конвенционально метризованные тексты, близкие авторам «Московского времени» (как стилистически, так и тематически), и тексты верлибрические, посвящённые осмыслению опыта частного человека, «родившегося в пятидесятые» (С. Завьялов): внимание к конкретной действительности при минимуме эмоций. Отличает Орлицкого от поэтов его поколения доверие к культуре и желание серьёзного диалога с поэтами прошлого (в диапазоне от Ф. И. Тютчева до американского поэта-объективиста Луи Зукофски) и нас-

тоящего. Отдельного упоминания стоит раздел «Циклы», включающий в себя перевод «Полых людей» Т. С. Элиота, а также несколько поэм, среди которых особенно хочется выделить «Большой скорее мёртв, чем жив!» и «The seven last words», в которых автобиографические мотивы решены в технике монтажа и ready-made.

«Голубке Машеньке» — / надпись на книге / где ты теперь, Машенька — / только голос в телефоне остался / стихов не пишешь / книга / лежит у меня на столе

Денис Ларионов

Олег Пашенко, Янина Вишневская.
Искусство ухода за мертвецами.
М.: Додозавр, 2009. — 96 с.

В своей второй книге поэт целиком сосредотачивается на эсхатологической проблематике. Сверхценность того, что вынесено за пределы текста, дано только намёком, подчёркивается напряжённой затруднённой и намеренной немелодичностью письма, своеобразным «неловким» словоупотреблением и запутанным синтаксисом, соотносимым с внутренним монологом субъекта, который бежит лаконичности, как бы поражённый «нетварным сиянием». Книга демонстрирует иной извод новейшей духовной лирики, несколько в стороне от практики не только Сергея Круглова, но и, например, Марианны Гейде. На равных правах со стихами в книге представлены фотографии Янины Вишневской, создающие дополнительную, визуальную интерпретацию этих текстов в духе кантовских представлений об априорности пространства, которое здесь, видимо, стремится слиться с Высшим Существом.

Мы во гробех, / словно в камере фотоплёнка, / засвеченная Нетварным Сиянием. / Даром что нет / ни пламени, ни

диаволов. / Видимо, всё-таки мы / в аду.

Кирилл Корчагин

Алексей Порвин. Темнота бела:

Первая книга стихов.

М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009. — 64 с. — (Серия «Поколение», вып. 28).

В лирической поэзии Алексея Порвина заключена критика лирического стихосложения. Это главный нервный узел его сочинений. Пьесы, внешне выстроенные по умиротворённым «общим» канонам поэтического письма — уложенные в строфы и строчки, с рифмами (точными или условными), прочитанные вслух, то есть единственно возможным образом осознанные, предстают выпадом, жестом разрушения традиционной просодии. Предложения, из которых состоит речь, в трансляции Порвина всегда обретают сложность и парадоксальность, так как требуют работы осознания. Даже расставляя существительные и сказуемые в краткой строфе (построенной по законам «мнимого афоризма»), ему удаётся пластически показать, какие потребны силы, чтобы одолеть косность силлабо-тонического стихосложения. Иногда возникает ощущение, что он заново осознаёт не только законы совместимости слов в предложении, строфе, но и вообще сам словарь, которым пользуется. Происходит это оттого, что изменённый, замедленный ритм чтения порождает скованность, замирание перед каждым словом, входящим в поле зрения. Будто бы необходимо каждый раз обращаться к внутреннему словарю, так как нет уверенности в правильном понимании употреблённого поэтом слова. Это порождает своеобразную аппроксимационную толчкообразную логику изложения. Прерывистую и нервную, трудную и изысканную. Лирическими силами и пунктиры, как чрепосолица жалоб, осознаний, подозрений поэта, так и сам способ его прерывистого языкового изъяс-

нения могут предстать асимптотой, огибающей колебания мира. Алексей Порвин пишет на особенном зыбком языке, который фокусирует смыслы только в момент говорения; высказанные, они так же быстро исчезают, как вообще свойственно мысли, порождённой напряжением самого процесса осознания. И стихотворения, ревизирующие логику обыденного говорения, внешне не чуждые лексике философских максим, предстают зыбкими и исчезающими, как воплощённое на миг противоречие, как апория, которая может быть вот-вот разрешена, в конце концов, как обрётённое чувство, составляющее вообще-то смысл нашего существования.

Николай Кононов

Прежде чем начинаешь читать стихи Алексея Порвина, замечаешь их чистый «внешний вид»: выверенные предложения, чёткое деление на строфы, часто регулярную рифму, однородность такой формы во всей книге. Это первое впечатление заставляет ожидать стихов, что и в образах однородны и подчинены строгим правилам. Но главной силой оказывается именно зазор между чёткой формой и разлетающимися образами. Из этих стихов узнаёшь, что можно диктовать правила своей руке и языку, а вместе с тем в душе праздновать торжество образов, если только не предаваться чрезмерности. Это остро чувствуется там, где сильнее всего напряжение между формой и образом, где они рискуют перестать составлять одно целое: «Но язык не помнит имён — / если слово есть, то — в глазах: / но они — безмолвны от слёз, / отвечавших дрожью на свет». Читатель, для которого написана эта книга, должен верить в твёрдость слов и хотеть видеть то, что они описывают.

*Нужное ничто засекает, согрев / запоев
ведь терпения дождевой / не-бедой, струящейся
жизнь-травой, / говорить «я твой». //*

Ересь кожи, пальцев холодный блеф — / Мария Похилайнен. Не верьте клятвам, сёстры / Предисл. Т. Морозовой. — М.: Время, 2009. — 112 с. — (Поэтическая библиотека)

нерушимо тихнут в такой воде, / вера обре- Второй сборник поэта и переводчика, математика по основной профессии. Среди стихов Похилайнен важнее не «прямая» лирика, но стихи ролевые, построенные на жанровой и субъектной игре с масками, разного рода стилизации (от жестокого романа до возрожденческого сонета), более трагичные, пожалуй, нежели такого рода опыты Юлия Кима (но уступающие в точности и жёсткости Михаилу Щербакову).

*Вы, милорд, давали слово чести, / И за
взгляд сулили миллион. / А потом уехали в
Манчестер... / Что за город? Да и есть ли
он?*

Д. Д.

тается здесь / нигде, / говорит «те-те». Евгений САБУРОВ. В сторону Африки: Стихотворения и поэмы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 232 с.

Книга поэта Евгения Сабурова (1946–2009) готовилась при жизни, а вышла практически сразу после смерти автора. В неё входят избранные стихотворения и трилогия поэм «В поисках Африки» (с авторскими поэтическими комментариями к каждой поэме, дающими дополнительную стереоскопию поэтическому высказыванию). Завершает книгу цикл стихотворений «Художник в старости», который тоже скорее поэма — о тяжёлой болезни и о том, как с ней жить. В нём доскональнее, чем в других стихах, объективированы биографические подробности жизни автора, переживания и непосредственные реакции на события.

*Уменье видеть, слышать и молчать /
столь сродственно уменью петь на крыше!
/ Оторванная задрана парча / до головы и
выше. // Разыгрываем танцы на эсминце. /
Большой противолодочный корабль / из*

Анна Глазова

Феодосии приходит принцем / и в Севастополь прибывает мизераблем.

Дарья Суховой

Новая книга покинувшего нас в этом году поэта содержит стихотворения, написанные в последние годы, и две поэмы — «В поисках Африки» и «Художник в старости». Некогда Сабуров начинал (вместе с Л. Иоффе и М. Айзенбергом) как вполне традиционный постакмеист, но с течением времени всё более и более разрушал эту полученную по наследству от Серебряного века поэтику. Такое разрушение, насколько можно судить, всегда было значимым, связываясь, прежде всего, с физическим взрослением и неизбежным старением. Данная книга целиком посвящена теме старости и положению человека, вынужденного сражаться со своим возрастом и одолевающими (и уже почти одолевшими) недугами. Расшатанная форма призвана иконически отобразить эти процессы, так сказать, не стесняясь в выражениях. Стихи Сабурова всегда были подчёркнуто физиологичны: сейчас это физиологичность особого толка — та, что обычно не выносится в условно «художественный» текст, считающаяся не вполне приличной и в бытовом разговоре, — в этой книге она получает убедительное утверждение как необходимый этап в понимании внутренней жизни человека.

Жизнь глупа, а смерть умна. / Невозможная природа, / исчезая год за годом / воскресает из говна. // Где же Робин Гуд? / Страшные собаки / рвут друга друга в драке. / Скоро нас порвут.

Кирилл Корчагин

Фёдор СВАРОВСКИЙ. Путешественники во времени: Стихотворения / Предисл. Н. Самутиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 424 с. — (Новая поэзия).

Большая книга избранных стихов московского поэта (р. 1971), ставшего буквально за год-другой очень популярным. Ещё он известен как основоположник «нового эпоса» в поэзии. Действительно, в любом стихотворении Сваровского рассказывается некая история, выстроенная тонким подбором риторических ходов и нюансированием психологических деталей для создания вероятности, что «это было не со мной», но мало того, что не с ним, так ещё и с инопланетными биороботами. Этой теме была посвящена первая книга «Все хотят быть роботами». «Путешественники во времени» ощутимо отличаются — тем, что герои первой книги, хорошие роботы, — они как люди, у них взаимопомощь и чувства. А ещё есть люди, которые как плохие, слишком примитивные роботы. Такие люди ведут себя как механизмы, работающие по инерции или по заданной программе. Они так же легко ломаются от необычных событий и переживаний (Азиз, который ничего не может после разбития машины от несчастной любви, — «Азиз»), они так же не могут справиться с нестандартными задачами (Мария, которая отправилась контуженного мужа жить на дачу, — «Муж Марии»), они так же неожиданно холодно реагируют на трепетные вещи (два солдата, поедающие пирог с капустой, и загорелый Бог с сигаретой, являющийся пред их очи — «Один из нас»). Убедиться в этой основной идее помогает и вторая, визуальный ряд книги — фотоколлажи Олега Пащенко из семейного архива Сваровского, однако подписанные далёким прошлым или глубоким будущим, другими планетами, малообычными топонимами.

открывает файл — / поёт Джафар Соиров // Запах дыма / редька и хурма / яблочная водка / картошка варёная // сумасшедший дедушка во дворе / снимает грязный халат // зачем-то / странное дело // как будто жизнь / прошла

Дарья Суховой

Вторая книга лауреата премии «Московский счёт» и финалиста премии Андрея Белого. Из предисловия: «Мне кажется, что Фёдор Сваровский оказался столь успешен в своём поэтическом проекте потому, что он сделал предметом высказывания самые востребованные, самые дефицитные на сегодняшний момент ценности — в форме, позволяющей этим ценностям максимально проявиться». Речь идёт о материале, положенном Сваровским в основу его микроновелл (масскультурный sci-fi трэш, фактически ставший общим тайным языком, опознавательным знаком для определённой страты интеллигенции — отсылаю к статье Станислава Львовского в «Воздухе»). Действительно, обращение к упрощённым, универсальным клише может вызвать гораздо более бурную психологическую, катарсическую реакцию, нежели обращение к конкретным «случаям из жизни» (психологический механизм этого эффекта, наверное, заслуживает отдельного обсуждения). Однако первый раздел книги — «Замечательная жизнь людей» — как раз и посвящён таким вот «жизненным сюжетам», вызывающим не меньший эмоциональный отклик, чем стихотворения «о роботах» и «о пришельцах». Возможно, подготовленный читатель воспринимает трагическую судьбу бывшего дайвера Игоря Ножакина, искалеченного мужа Марии или белой мыши полковника Ерёмина с той же степенью остранения, с какой воспринимал пришельцев и путешественников во времени: ... совершенно иным был неистовый, нетерпеливый Юрий / как-то году, кажется, в 1939-м / он за один день выстроил большую баню с каменной печью / истопил её, залез туда и напился / а к полуночи сжёг эту баню к свиньям собачьим / односельчане уважительно звали его Юра-огня. Одновременно фотографии, иллюстрирующие книгу, рассказывают нам некую историю путешествий во времени, историю, полную лакун, однако оставляю-

щую простор для домыслов — обрывочную хронику Будущего. Таким образом, перед нами, фактически две книги, — книга написанная и книга, существующая лишь в воображении читателя благодаря опорным точкам-фотографиям и подписи к ним (фотографии аутентичные, подписи к ним — нет). Существующий текст пересекается с несуществующим по касательной в разделах «Это будущее», «Теория струн: Шамастам и Вардария» и «Путешественники во времени».

Мария Галина

Михаил Свищёв. Последний экземпляр. М.: Воймега, 2009. — 72 с. — (Приближение)

Первая книга поэта, близкого кругу журнала «Алконостъ» (именно там, а также в альманахе «Окрестности» были в своё время первые публикации Свищева). Значительную часть книги составляют жёсткие (но не лишённые сентиментальности) баллады, наследующие отчасти раннему «Московскому времени», однако в книге представлены и бескомпромиссные опыты самоанализа лирического «я», выполненные свободным стихом.

*с точки зрения сходства / мёртвые
убедительнее живых // но правдивей всего
/ бронза передаёт то / что при других
обстоятельствах / никогда не сможет /
стать бронзой — / складку шинели /
трепетанье глазного белка / мягкие ямочки
/ на подбородке младенца*

Елена Спирина. Штандер — стоп: Стихи. Н. Новгород, 2009. — 16 с.

Сборник нижегородского поэта, редактора альманаха «Дирижабль». В стихах Спириной звукописная реакция на многообразии мира претворяется порой в постфутуристических, порой — в неокреативистских опытах (не случайно то, что Спирина выступает и как автор для детей — в

её «взрослых» стихах явственно присутствует игровое начало).

август прост. / отошли воды. / рубит хвост. / терпит роды.

Евгений СТРЕЛКОВ. Молекулы. Н.Новгород, 2009. — 16 с.

Небольшой сборник нижегородского поэта. Поэзия Стрелкова восходит к дадаистическим и сюрреалистическим корням, сращённым с опытом восприятия позднесоветской и постсоветской гротескной реальности, которая сама по себе предстаёт объектом трансгрессивного восприятия.

*арзамасская пустошь низины болота
тёша / мост через тёшу сосёт ледяную кашу / пополам с железом — / когда-то железо мыли / так и намылся мост / обмылок мытных времён // сосульки льда — на сезон / сосульки железа — надолже: навек / или / на три четверти / человек / состоит из воды с малой долей железа / — и во рту оскомина / как от пореза*

Д. Д.

Фотис ТЕБРИЗИ (монах Елисей). Чёрное солнце эросов / Предисл. А.Таврова. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 140 с. — (Мемориальная серия «Русского Гулливера»)

Посмертное собрание стихов Фотиса Тебризи (монаха Елисея; 1972–2003), грека по происхождению, родившегося в Узбекистане, проведшего годы в монастыре Афона и скончавшегося в странствиях по Средиземноморью. Представленные тексты часто структурно сходны со средневековой христианской литургией в её наиболее «индивидуальном» варианте (Роман Сладкопевец, Григор Нарекаци). Они «надличностны» и конструируются из строго определённого набора символов, отсылающего к тем или иным духовным практикам или каноническим книгам. Христианская тео-

дицея обогащена влияниями других восточных традиций — прежде всего, суфийской (в лице Руми, любимого поэта Тебризи). Издание интересно, прежде всего, как свидетельство во многом уникального для нашего времени духовного и экзистенциального опыта, которому подчинены стихи.

Чёрная ночь светла. / Лепестки цветов душистых / Манят нектаром пчелу. / Но мраком незримым окутан / Век не гаснущий день. / И радостно безумному / Зреть ангелов, нисходящих / В безмолвии светлого мрака.

Кирилл Корчагин

Книга — несомненное событие, происшедшее на стыке двух культур: поэтической и тысячелетней культуры христианского исихастского «делания». Сборник стихов поэта и афонского монаха, мистика и странника, нашедшего конец земной жизни в дороге, читается на одном дыхании — настолько вошедшие в него тексты едины в явлении мегатекста-молитвы, включающего в себя и личность автора, и Возлюбленного Адресата его стихов. Однако это «единое дыхание» сверхнепросто даётся лёгким современного читателя, которому нужно ещё научиться дышать разреженным воздухом вершин мистической лирики, явленных миру духовными предшественниками Фотиса Тебризи — Симеоном Новым Богословом, Руми, Сан-Хуаном де ла Крус, Томасом Мертоном.

Ожили улицы полуночных Салоник, / И я спешу среди ночи, но куда? — / Быть может, взять бутылку и испить / Красивого «краси», чтобы забыться? / Но Ты — один предел моих скитаний. / Раскрыты южной ночью для Тебя / Все ставни опозоренного сердца.

Сергей Круглов

Владимир Тучков. Майор Азии: Стихи. М.: Изд-во Р.Элинина, 2009. — 58 с.

Сборник стихотворений известного московского поэта, прозаика, эссеиста, перформера составили тексты разных лет. Свободный стих здесь соседствует с регулярным, сугубо иронические опыты — с концептуалистскими, своего рода «почвенная психоделика» — с конкретизмом, соцартовские мотивы причудливо обретают сугубо лирическое измерение, личное же высказывание остраняется реалиями иного семантического ряда. В этом смысле стихи Владимира Тучкова в значительно большей степени, нежели его проза, говорят о метастиле московского андеграунда (круг легендарного клуба «Поэзия») конца 1980-х.

вырыл землянку / стал жить в мезозое / хорошо — / все вымерли

Д. Д.

Сергей Уханов. Дерзкий язык. СПб. — Тверь.: Kolonna Publications, 2009. — 128 с. — (Vasa inquitatis).

Сергей Уханов (р. 1976) пишет жёстко, телесно, физиологично, поэт никогда не читает стихов вслух, потому что, по всей видимости, высказывание предельно интимно — и это принципиальная позиция (впрочем, в интернете стихи обнарудутся автором, вызревшие, по мере написания некоторого блока). Можно в связи с этими стихами ещё раз вспомнить о внутренней речи как о двигателе эстетик современной поэзии — и попробовать вычертить некоторые схемы, круги. Скорее, в предтечах Павел Улитин и Дмитрий Волчек — но эти авторы, можно сказать, близки Уханову по интенциям, по степени обнажения этой самой внутренней речи. В соратниках — Александр Ильянен и Николай Кононов, но это приблизительный круг общения. Если говорить о более широком культурном контексте, то это и Вагинова песнь, и кафкианская трезвость и нервность. Безумие особого рода, напряжение — то, чего мы никогда не скажем вслух, ибо страшно помыс-

лить. Эстетический / риторический диапазон, однако, широк. Вот замкнутый в себе росток европейского неомодернизма:

к. писал от некоторой тяжести желудка / маячил свет обрыв руки брюзжание письма / две папки фотография достойной жизни // как бы я маячил в этой дали (?) / тщедушным потрохом окрылённой печалью / лирическим как некролог — убогая / мертвецкая возня

Вот тугая грамматика Михаила Ерёмна (кажется, Уханов — единственный автор, который хоть чуточку наследует этой уникальной традиции развития русской поэзии, причём делает это вполне развёрнуто и самоценно)

зиждательны свободы / мнимости прекословья / перья заступлены / ночлежки облачены / светом дня (деньское / вышны-ривает наружу / но отчего не вязнет)

Дарья Суховой

Первая книга петербургского поэта, являющаяся по сути собранием избранных текстов за пять лет. Наследуя постперестроечной лирике Дмитрия Волчека и, может быть, Николая Кононова — тот же сплав эротизма и топографии, общая негативная установка по отношению к себе и к миру, — Уханов приходит к дегуманизированным текстам, имеющим не так много аналогов в современной поэзии (Валерий Нугатов, «Результаты фиксации» Павла Жагуна). Впрочем, это скорее нормальная ситуация. В тематическом отношении Сергей Уханов проявляется как антипод Ярослава Могутина, что во многом показывает способ бытования маргинала в ситуации шоковой смены парадигм — на место демонстративности приходит тенденция к созданию новой модели «подпольного человека». Любопытно, что у более младших питерских авторов, продолжающих линию Уханова (Тимофей Усиков, Никита Миронов), намечается тенденция к демократизму — как в области формы, так и в области содержания.

*так говорит пизда пизде / как заебали
люди все / и тешит правую рукой / свою
могилку под ногой / пизда пизду
богговорит / а маленький во сне гудит / я
ненавижу сука блядь / отца и мать*

Денис Ларионов

Борис Херсонский. Спиричуэлс:

Стихотворения.

М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 384 с. — (Новая поэзия)

Собственно цикл «Спиричуэлс» занимает всего два десятка страниц этой большой во всех смыслах книги; остальной корпус составляют ещё пять блоков, вернее, книг, так и озаглавленных: «Книга скитаний», «Книга сражений», «Книга видений», «Книга молений» — и, наконец, «Стихи о русской прозе». Книги эти в свой черёд складываются из протяжённых циклов — открытых, незавершённых; об этой открытости свидетельствуют и легко соотносимые с тем или иным циклом новые стихи, ежедневно появляющиеся в живом журнале borkhers'a, чья невиданная работоспособность не может не вызывать восхищения (а у кого и раздражения). Пять книг Бориса Херсонского, вышедших в Москве за последние четыре года, образуют сложную и труднообозримую целостность; мы уже можем оценить, прямо скажем, величие замысла — дать некий наиполнейший компендиум личного — зрительного, слухового, житейского, профессионально-врачебного, мыслительного, читательского (читательского — едва ли не в первую голову!), исторического, наконец, опыта. Не говорю уж об опыте религиозном, цементирующем, если можно так выразиться, прочие опыты. Сюда же — и опыт (дар!) воображения, позволяющего, при всей определённости авторского голоса, избегать прямого лирического говорения. Голос Бориса Херсонского транслирует множество — целый мир — разнообразных мест и времён, персонажей, артефактов, сюжетов, стоп-кадров...

Цитировать здесь стихи нет смысла: две-три строфы ничего не скажут о большой и разнообразной книге, а стиль Херсонского читателям «Воздуха» и так хорошо знаком.

Аркадий Штыпель

Основу книги поэта (р. 1950, Одесса) составили стихи о разных отношениях с божественным и диаволическим, о непознаваемой стороне мира. Толстая книга разбивается на несколько — действия в духовной сфере — от запева спиричуэлс (в самом слове — и христианство, и спиритизм!), то есть песен, обращённых во хвалу Господу, — до нескольких книг: книги скитаний, сражений, видений, молений. Эта структура, дробящаяся на подциклы и на отдельно друг от друга воспринимаемые стихотворения, подчёркнута оформлением Владимира Смольяра, бесконечно фрагментирующим фотопортрет автора — в простых рубашке, джинсах и туфлях, и эти фрагменты перемигиваются на фоне авторского чтения в приложенном к изданию компакт-диске. Завершается том разделом «стихи о русской прозе», заново переживающим классические произведения русской литературы и восполняющим лакуны в разговоре о потустороннем, мистическом, магическом. Масштабностью книга стихов сама похожа на роман, с зеркалом заднего вида в конце, для отражения в колодце контекста.

*Ночью какая-то тварь приходила к избе,
тёрлась об угол сруба, / оставила ключья
шерсти, серой, седой жёсткой. / А хозяин
спал непробудно — на автопилоте из клуба
/ пришёл, завалился, проснулся, тоже по-
крытый шёрсткой.*

Дарья Суховой

Наталия Черных. Похвала бессоннице:

Стихи 2006-2008 гг.

/ Предисл. С. Завьялова; Л. Вязмитиновой; послесл. Ю. Орлицкого. — М.: Центр современной

литературы, 2009. — 148 с. — (Русский Гулливер).

Новая — восьмая — книга стихов московского поэта и эссеиста. Точнее, это фактически два авторских сборника, «Книга элегий» и «Похвала бессоннице», под одной обложкой. Для Черных важен не только ритуально-молитвенный и прихрамовый миры, но и неожиданный мифологически-культурный реестр, некоторый личный ассоциативный код, включающий ряд «говорящих» для лирического «я» сюжетов и мотивов (будь то древнеирландская мифология или история Древней Руси, песни Егора Летова или московская топография). Все различные голоса Черных принадлежат единому лирическому субъекту (и это касается даже диалогически устроенных текстов), изменяющемуся в зависимости от условий, обстоятельств и контекстов, но не забывающему о собственной целостности. Возвышенность поэтического языка, — во многих стихотворениях принципиальная, не чуждающаяся порой и стилизаций, — соседствует с просторечием, неофольклорным заходом, максимально реалистической картинкой.

Ей несколько неловко в обществе святых, / утопленница поджимает губы / и замирает, бледных глаз ледок / не тает; светятся лица её уступы. / Ей странен тёплых высей говорок.

Сергей ЧЕРНЯЕВ. Зелёное солнце: Стихи / Предисл., сост и подгот. текста. М.Красикова. — Харьков: Эксклюзив, 2009. — 96 с.

Книга трагически погибшего харьковского поэта и философа Сергея Черняева (1970–2002) включает два его самиздатских сборника. В лучших стихах Черняева, несмотря на порой возникающую маньеристскую интонацию, чувствуется постановка задач, близких «эзотерическому андеграунду» — от Георгия Недгара до Юрия Стефанова.

Мы в рабстве у пленившего нас мифа / И дух пленённый отторгает свет / Взгляни глазами Зевса на Сизифа — / Ни камня нет ни наказанья нет

Анатолий Щукин. Успение стиха: Сборник стихотворений 1960–2008. М.: Европейские Издания, 2009. — 346 с.

Первый сборник — точнее, собрание стихотворений — московского поэта Анатолия Щукина, участника легендарных чтений на площади Маяковского, публиковавшегося в самиздатских журналах «Бумеранг», «Феникс», «Сирена». Поэзия Щукина в значительной степени находится в поле поиска смогистов и близких им поэтов: открытое гражданское начало совмещено с сюрреалистичностью образов, а почвенные мотивы преподносятся как формы неоавангардного поиска.

И песенки бульварной недозволенность / И кирпичом скрипящая тоска / И волосы твои о волосы / Твоих волос неправильный оскал

Д. Д.

Эра Эроса / Сост. Юлия Андреева. — СПб.: Реноме, 2009. — 478 с., ил. — (Серия «Петраэдр», вып. 16)

Том стихов и прозы на эротические темы, вышедший в серии «Петраэдр», выпускаемой Александром Смирном и Юлией Андреевой, проиллюстрирован петербургской художницей Анастасией Нелюбиной. В предисловии популярного писателя Дмитрия Вересова говорится об истории эроса в мировом искусстве и истории русской литературы как поля свободы, с выводом, что «сексуальная революция [в русской традиции — Д.С.] ... так и не привела к появлению сколько-нибудь заметных собственно эротических произведений, которые, в отличие от того же Запада (впрочем, теперь в той же степени и Востока), в сфере маргинального,

«досугового» чтения». В книгу, которая числится автором предисловия именно по этому странному ведомству, вошли произведения разных жанров (от афоризмов до повестей, а вот поэзия преимущественно традиционных форм, даже верлибра немного, правда, Дмитрий Чернышёв, Алёна Василькова, миниатюры Смира). География напечатанных поэтов также впечатляет, тематика стихов — преимущественно любовь мужчины к женщине, реже женщины к мужчине, практически без иных вариантов.

Ты Сегодня Вчера Захотелась / Ты

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Проза на грани стиха

т.е. 18-20-летним автором. Это годы, когда традиция заумного минималистического визуализированного письма в русской поэзии практически не существовала. Футуристы и дадаисты были малодоступны, а Кручёных и Алягров (доказано, что молодой Роман Якобсон), соавторы «Заумной Гниги» (1915), были ещё живы, но основательно забыты в официальной советской стране. Самиздат только начинал наработывать себя, разворачивать крылья. В последующие времена «Кнега Кинга» частично печаталась в самиздатской периодике и в периодике 1990-х годов, а книгой издана впервые через 40 с лишним лет после написания. В Кнегу вошли однострочные, однобуквенные, знакопрепинательные, визуальные стихотворения, а также несколько нескольких строчных стихотворений, протяжённостью до верлибрической миниатюры. В издание, помимо Кнеги Кинга, включены несколько других визуальных стихотворений (1967-1969), где организующей силой является сетка, пересечения между словами, структура, топологически сходная с кроссвордом («Нашествие таракана», «г.иль...» и др). Завершает издание «Роман в стихах» (1966), который называется «Вова», — про-

*Сегодня Вчера Танцевалась / Ты Сегодня
Вчера Хохоталась / Целовалась И Сразу
Исчезлась (М. Вяткин)*

*Как мне лежать меж вами хорошо /
Нагие безрассудные мужчины / Вы
влюблены, вы колетесь щетиной / Вы
отдаёте телом и душой (Света Литвак)*

Владимир Эрль. Кнега Книга и другие стихотворения.
СПб.: Юлупка, 2009. — 58 с.

Авторская книга Владимира Эрля «Кнега Кинга» была написана в 1965-67 годах,

заическая миниатюра, где обрывы слов и

опечатки текста отображают следы музици-

рования на пишмаше:

А В Т О Р Ы

Наталья Азарова (Москва; 1956). Книги стихов: Телесное-лесное (2004), 57577 (2004, совместно с Анной Альчук), Цветы и птицы (2006), Буквы моря (2008). + **Михаил Айзенберг** (Москва; 1948). Книги стихов: Указатель имен (1993), Пунктуация местности (1995), За Красными воротами (2000), Другие и прежние вещи (2000), В метре от нас (2004), Рассеянная масса (2008), Переход на летнее время (2008, с прибавлением эссеистики); три книги эссе о поэзии; Премия Андрея Белого (2003). + **Евгений Арабкин** (Санкт-Петербург; 1980). Публикуется впервые. + **Владимир Аристов** (Москва; 1950). Книги стихов: Отдаляясь от этой зимы (1992), Частные безумия вещей (1997), Реализации (1998), Иная река (2002), Реставрация скатерти (2004), Месторождение (2008), Избранные стихи и поэмы (2008); роман «Предсказание очевидца» (2004); Премия Андрея Белого (2008). + **Анастасия Афанасьева** (Харьков; 1982). Книги стихов: Бедные белые люди (2005), Голоса говорят (2007); Русская премия и премия ЛитератуРРентген (обе 2007). + **Алексей Афонин** (Санкт-Петербург; 1990). Стихи в Интернете. + **Анатолий Барзах** (Санкт-Петербург; 1950). Книга статей о поэзии: Обратный перевод (1999), книга прозы: Причастие прошедшего зрания (2009); премия «Мост» за критику поэзии (2006). + **Полина Барскова** (Беркли; 1976). Книги стихов: Рождество (1991), Раса брезгливых (1993), Методы (1996), Эвридей и Орфика (2000), Арии (2001), Бразильские сцены (2005); малая премия «Москва–транзит» (2005). + **Игорь Белов** (Калининград; 1975). Книга стихов: Весь этот джаз (2004); переводы украинской и белорусской поэзии. + **Максим Бородин** (Днепропетровск; 1973). Стихи в журналах и альманахах Арион, Вавилон, Воздух, Илья, Наш, антологии Освобождённый Улисс, в Интернете. + **Александра Володина** (Москва; 1988). Стихи в Интернете. + **Мария Галина** (Москва; 1958). Книги стихов: Вижу свет (1993), Сигнальный огонь (1994), Неземля (2005), На двух ногах (2009); девять повестей и романов; премии «Anthologia» (2005), «Московский счёт» (2006). + **Григорий Гелюта** (Нижний Новгород; 1986). Стихи в журналах Волга, Воздух, Новый берег, в Интернете. + **Анна Глазова** (Чикаго; 1973). Книги стихов: Пусть и вода (2003), Петля. Невполювину (2008); переводы немецкой поэзии и прозы XX века. + **Линор Горалик** (Москва; 1975). Книги стихов и малой прозы: Не местные (2003), Подсекай, Петруша! (2007); два романа, три книги non-fiction; молодёжная премия «Триумф» (2003). + **Альфред Губран** (Alfred Goubran; Вена; 1964). Книги прозы, драматургии, публицистики; поощрительная литературная премия земли Каринтия (2003). + **Данила Давыдов** (Москва; 1977). Книги стихов: Добро (2002), Сегодня, нет, вчера (2006); премия «Дебют» (2000) за книгу прозы «Опыты бессердечия»; критические и литературоведческие статьи во всех основных российских журналах. + **Павел Демидов** (Клермонт, США; 1969). Стихи в сибирской региональной периодике. + **Ольга Дернова** (Москва; 1979). Стихи в журналах Волга, Российский Колокол. + **Павел Жагун** (Москва; 1954). Книга стихов: Я выбираю тебя. Стихи звёздных песен от Аллы Пугачёвой до Морального Кодекса (2007), Радиоярии (2007), IN4 (2008), Алая буква скорости (2009); книга прозы. + **Шота Иаташвили** (შოთა იათაშვილი; Тбилиси; 1966). Книги стихов: საღვებო რეზინა (1994), სიკვდილის ფრთები (1994), გუნზინის ყვავილეტი (2000), ფანქარი ცაში (2004), სანამ დროა (2006, премия «SABA» за лучшую поэтическую книгу года); переводы на русский язык в журналах Октябрь, Звезда, Дружба народов и др. + **Елена Иванова-Верховская** (Москва; 1959). Стихи в журнале Дружба народов и др. + **Евгения Изварина** (Екатеринбург; 1967). Книги стихов: Сны о великом плаванье (1996), По земному кругу (1998), Страны ночи (1999), Пояс Ориона (2004). + **Геннадий Каневский** (Москва; 1965). Книги стихов: Провинциальная латынь (2001), Мир по Брайлю (2004), Как если бы (2006), Небо для лётчиков (2008). + **Николай Кононов** (Санкт-Петербург; 1958). Книги стихов: Маленький пловец (1989), Пловец (1992), Лепет (1995), Змей (1998), Пароль (2001), Поля (2004), Пилот (2009); четыре книги прозы. + **Кирилл Корчагин** (Москва; 1986). Стихи в журнале Воздух и в Интернете, статьи в журнале Новое литературное обозрение. + **Леонид Костюков** (Москва; 1959). Книга стихов: Снег на щеке (2009); три книги прозы, статьи о поэзии в журналах Знамя, Арион,

Дружба народов и др. + **Константин Кравцов** (Москва; 1963). Книги стихов: Приношение (1998), Январь (2002), Парастас (2006). + **Сергей Круглов** (Минусинск; 1966). Книги стихов: Снятие Змия со креста (2003), Зеркальце (2007), Приношение (2008), Переписчик (2008). + **Алексей Кубрик** (Москва; 1959). Книги стихов: Параллельные места (1995), Древесного цвета (2006). + **Демьян Кудрявцев** (Москва; 1971). Книги стихов: Практика русского стиха (2002), Имена собственные (2006). + **Дмитрий Кузьмин** (Москва; 1968). Книга стихов: Хорошо быть живым (2008); переводы и статьи в периодике и Интернете; Премия Андрея Белого «За заслуги перед литературой» (2002), малая премия «Московский счёт» (2009). + **Илья Кукулин** (Москва; 1969). Статьи о литературе и культуре в журналах Новое литературное обозрение, Неприкосновенный запас, Знамя и др. + **Денис Ларионов** (Московская обл.; 1986). Стихи в журнале Воздух, альманахе Солнце без объяснений. + **Александр Левин** (Москва; 1957). Книги стихов: Биомеханика (1995), Орфей необязательный (2001), Перекличка (2003, совместно с В. Строчковым), Песни неба и земли (2007). + **Игорь Лёвшин** (Москва; 1958). Книга прозы: Жир Игоря Лёвшина (1995); стихи в периодике. + **Валерий Леденёв** (Москва; 1985). Книга стихов: Запах полиграфии (2008), книга переводов: Питер Голуб. Мои воображаемые похороны (2007). + **Василий Ломакин** (Вашингтон; 1958). Книга стихов: Русские тени (2004). + **Станислав Львовский** (Москва; 1972). Книги стихов: Белый шум (1996), Стихи о Родине (2004), Camera rostrum (2008); книга стихов и прозы: Три месяца второго года (2003); книга рассказов, переводы американской поэзии; Малая премия «Московский счёт» (2003). + **Александр Месропян** (хутор Весёлый Ростовской обл.; 1962). Книги стихов: Пространство Эроса (1998), Возле войны (2008). + **Вадим Месяц** (Нью-Йорк; 1964). Книги стихов: Календарь вспомиальщика (1992), Выход к морю (1996), Високосный день (1996), Час приземления птиц (2000), Не приходи вовремя (2006), Цыганский хлеб (2009); пять книг прозы, переводы англоамериканской поэзии XX века; премия имени Бунина за книгу рассказов (2005). + **Никита Миронов** (Санкт-Петербург; 1986). Стихи в антологии «Петербургская поэтическая формация», в журнале Воздух, в Интернете. + **Евгений Никитин** (1981; Москва). Книги стихов: Зарисовки на ветру (2005), Невидимая линза (2009); переводы в журнале Воздух. + **Лев Оборин** (1987; Москва). Стихи в журнале Волга и др., статьи о поэзии в журналах Знамя, Новый мир; переводы. + **Алексей Прокопьев** (Москва; 1957). Книги стихов: Ночной сторож (1991), День Един (1995), Снежная Троя (2003); переводы англоамериканской, немецкой, шведской поэзии. + **Виталий Пуханов** (Москва; 1966). Книги стихов: Деревянный сад (1995), Плоды смоквицы (2003). + **Антон Равик** (Санкт-Петербург; 1987). Проза в журнале Воздух, стихи в Интернете. + **Пётр Разумов** (Санкт-Петербург; 1979). Книга стихов: Диафильмы (2005). + **Владимир Рафеенко** (Донецк; 1969). Книги стихов: Три дня среди недели (1998), Частный сектор (2002); книга прозы Краткая книга прощаний (1999). + **Дональд Ревелл** (Donald Revell; Нью-Йорк; 1954). Книги стихов: From the Abandoned Cities (1983), The Ghaza of Winter (1988), New Dark Ages (1990), Erasures' (1992), Beautiful Shirt (1994), Arcady (2002), My Mojave (2003), Pennyweight Windows: New And Selected Poems (2005), A Thief of Strings (2007), The Bitter Withy (2009); переводы французской поэзии; премии Пушкикарта (1985), ПЕН-центра США (1991, 2003), Линор Маршалл (2004) и др. + **Евгения Риц** (Нижний Новгород; 1977). Книги стихов: Возвращаясь к лёгкости (2005), Город большой, голова болит (2007). + **Александр Самарцев** (Москва; 1947). Книги стихов: Ночная радуга (1991), На произвол святынь (1996). + **Никита Сафонов** (Санкт-Петербург; 1989). Стихи в журнале Волга, в Интернете. + **Мартин Светлицкий** (Martin Świetlicki; Краков; 1961). Книги стихов: Zimne kraje (1992), Schizma (1994), Zimne kraje 2 (1995), Berlin (1995), 37 wierszy o wódce i papierosach (1996), Trzecia polowa (1996), 20 niezapomnianych przebojów i 10 kultowych fotografii (1996), Zimne kraje 3 (1997), Stare chłopcy prowadzą rowery na techno (1998), Pieśni profana (1998), Czynnny do odwołania (2001), Nieczynny (2003), Wiersze wuprane (2003), 49 wierszy o wódce i papierosach (2004), Muzyka środka (2006), Nieoczywiste (2007); пять книг прозы, несколько альбомов рок-группы Świetlicki, ряд литературных премий. + **Антонина Семенец** (Харьков; 1985). Стихи в антологии Освобожденный Улисс, журналах ©юоз писателей, Воздух. + **Андрей Сен-Сеньков** (Москва; 1968). Книги стихов, визуальной поэзии и поэтической прозы: Деревце на склоне слезы (1995), Живопись молозивом (1996), Тайная жизнь игрушечного пианино (1997), Танец с женщиной, которая немного выше (2001), Дырочки сопротивляются (2006),

Заострённый баскетбольный мяч (2007). + **Андрей Сидоркин** (Санкт-Петербург; 1981). Стихи в журнале Дети Ра, альманахе Вавилон, Интернете. + **Мария Скаф** (Москва; 1988). Стихи в журнале Волга, статьи в журналах Новый мир, Новое литературное обозрение. + **Сергей Соловьёв** (Москва; 1959). Книги стихов: Зеркало отца (1987), Нольдистанция (1990), Дар смерти (1991), Пир (1993), Междуречье (1994), Птица (2002); пять книг прозы. + **Евгений Сошкин** (Иерусалим; 1974). Книга стихов: Другие стихотворения (2000); монография «Горенко и Манделштам» (2004). + **Елена Сунцова** (Нижний Тагил – Нью-Йорк; 1976). Книга стихов: Давай поженимся (2006). + **Дарья Суховой** (Санкт-Петербург; 1977). Книга стихов: Каталог случайных записей (2001); статьи о современной поэзии. + **Андрей Тавров** (Москва; 1948). Книги стихов: Настоящее время (1989), Звезда и бабочка — бинарный счёт (1998), Альпийский квинтет (1999), Sanctus (2002), Ангел пинг-понговых мячиков (2004), Парусник Ахилл (2005), Самурай (2006), Зима Ахашвероша (2008); два романа, сценарии. + **Сергей Тимофеев** (Рига; 1970). Книги стихов: Собака, Скорпион (1994), Воспоминания диск-жокея (1996), 96/97 (1998), Почти фотографии (2002), Сделано (2003); переводы поэзии с латышского и др. + **Тарас Ткаченко** (Санкт-Петербург; 1980). Публикуется впервые. + **Тарас Трофимов** (Екатеринбург; 1982). Книга стихов: Продавец почек (2007); премия ЛитератуРРентген (2006). + **Тимофей Усиков** (Санкт-Петербург; 1986). Публикации в Интернете. + **Михаил Файнерман** (Москва; 1946—2003). Книга стихов: Зяблик перелётный (1995). + **Тарас Федирко** (Тарас Федірко; Львов; 1990). Публикации в Интернете; переводы поэзии с немецкого, итальянского, русского. + **Борис Херсонский** (Одесса; 1950). Книги стихов: Восьмая доля (1993), Вне ограды (1996), Семейный архив (1997), Post Printum (1998), Там и тогда (2000), Свиток (2002), Нарисуй человечка (2005), Глаголы прошедшего времени (2006), Вне ограды (2008), Площадка под застройку (2008), Спиричуэлс (2009), Мраморный лист (2009); стихотворные переложения библейских текстов. + **Юрий Цаплин** (Харьков; 1972). Книга стихов и малой прозы: Маленький счастливый вечер (1997). + **Алексей Цветков** (Прага; 1947). Книги стихов: Сборник пьес для жизни соло (1978), Состояние сна (1981), Эдем (1985), Дивно молвить: Собрание стихотворений (2001), Шекспир отдыхает (2006), Имена любви (2007), Ровный ветер (2008); книга детских стихов «Бестиарий» (2004); проза и эссе; Премия Андрея Белого (2007). + **Юрий Цветков** (Москва; 1969). Стихи в журнале Октябрь, сборнике Солнце без объяснений. + **Ирина Шостаковская** (Москва; 1978). Книга стихов: Цветочки (2004). + **Аркадий Штыпель** (Москва; 1944). Книги стихов: В гостях у Евклида (2002), Стихи для голоса (2007). + **Татьяна Щербина** (Москва; 1954). Книги стихов: 0–0 (1991), Жизнь без (1997), Диалоги с ангелом (1999), Книга о хвостом времени... (2001), Прозрачный мир (2002), Побег смысла (2008); книга эссе «Лазурная скрижаль» (2003), роман «Запас прочности» (2006), сборник стихов, эссе и пьес «Они утонули» (2009). + **Олег Юрьев** (Франкфурт-на-Майне; 1959). Книги стихов: Стихи о небесном наборе (1989), Избранные стихи и хоры (2004), Франкфуртский выстрел вечерний (2008); два романа, сборник рассказов, пьесы.

КНИЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Вениамин Блаженный.
МОИМИ ОЧАМИ

Александр Скидан.
КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ

Гали-Дана Зингер.
ЧАСТЬ ЦЕ

Александр Ожиганов.
ЯЩЕРО-РЕЧЬ

Галина Ермошина.
КРУГИ РЕЧИ

Сергей Морейно.
ТАМ ГДЕ

Полина Барскова.
БРАЗИЛЬСКИЕ СЦЕНЫ

Андрей Сен-Сеньков.
ДЫРОЧКИ
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ

Алексей Кубрик.
ДРЕВЕСНОГО ЦВЕТА

Виктор Полещук.
МЕРА ЛИЧНОСТИ

Александр Беляков.
БЕССЛЕДНЫЕ МАРШИ

Валерий Нугатов.
ФРИЛАНС

Игорь Булатовский.
КАРАНТИН

Константин Кравцов.
ПАРАСТАС

Мара Маланова.
ПРОСТОРЕЧИЕ

Елена Сунцова.
ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

Бахыт Кенжеев.
ВДАЛИ МЕРЦАЕТ ГОРОД ГАЛИЧ

Андрей Тавров.
САМУРАЙ

Валерий Земских.
ХВОСТ ЗМЕИ

Данила Давыдов.
СЕГОДНЯ, НЕТ, ВЧЕРА

Игорь Жуков.
ЯЗЫК ПАНТАГРЮЭЛЯ

Егор Кирсанов.
ДВАДЦАТЬ ДВА НЕСЧАСТЬЯ

Фёдор Сваровский.
ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ РОБОТАМИ

Георгий Геннис.
УТРО НОВОГО ДНЯ

Аркадий Штыпель.
СТИХИ ДЛЯ ГОЛОСА

Линор Горалик.
ПОДСЕКАЙ, ПЕТРУША

Катя Капович.
СВОБОДНЫЕ МИЛИ

Геннадий Алексеев.
АНГЕЛ ЗАГАДОЧНЫЙ

Евгения Риц.
ГОРОД БОЛЬШОЙ,
ГОЛОВА БОЛИТ

Сергей Круглов.
ЗЕРКАЛЬЦЕ

Александр Уланов.
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ +

Янина Вишневская.
НАЧИНАЕТСЯ
УЖЕ НАЧАЛОСЬ

Василий Чепелев.
ЛЮБОВЬ
«СВЕРДЛОВСКАЯ»

Владимир Аристов.
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Татьяна Щербина.
ПОБЕГ СМЫСЛА

Елена Михайлик.
НИ СНОМ, НИ ОБЛАКОМ

Александр Месропян.
ВОЗЛЕ ВОЙНЫ

Александр Мещеряков.
ЗДЕСЬ БЫЛ ЛЕДНИК

Геннадий Каневский.
НЕБО ДЛЯ ЛЁТЧИКОВ

Виталий Лехциер.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Зинаида Быкова.
ТИХОЕ ГОСУДАРСТВО

Леонид Костюков.
СНЕГ НА ЩЕКЕ

Борис Херсонский.
МРАМОРНЫЙ ЛИСТ

Мария Галина.
НА ДВУХ НОГАХ

Николай Кононов.
ПИЛОТ

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА

МОСКВА

ОГИ

Потаповский пер., д.8/12

Фаланстер

Малый Гнездниковский пер., д.12/27

Додозавр

Рождественский б-р, д.10/7

(вход с Малого Кисельного пер.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Борей

Литейный пр., д.58

РОССИЯ

www.vavilon.ru/order

ЗАГРАНИЦА

www.esterum.com